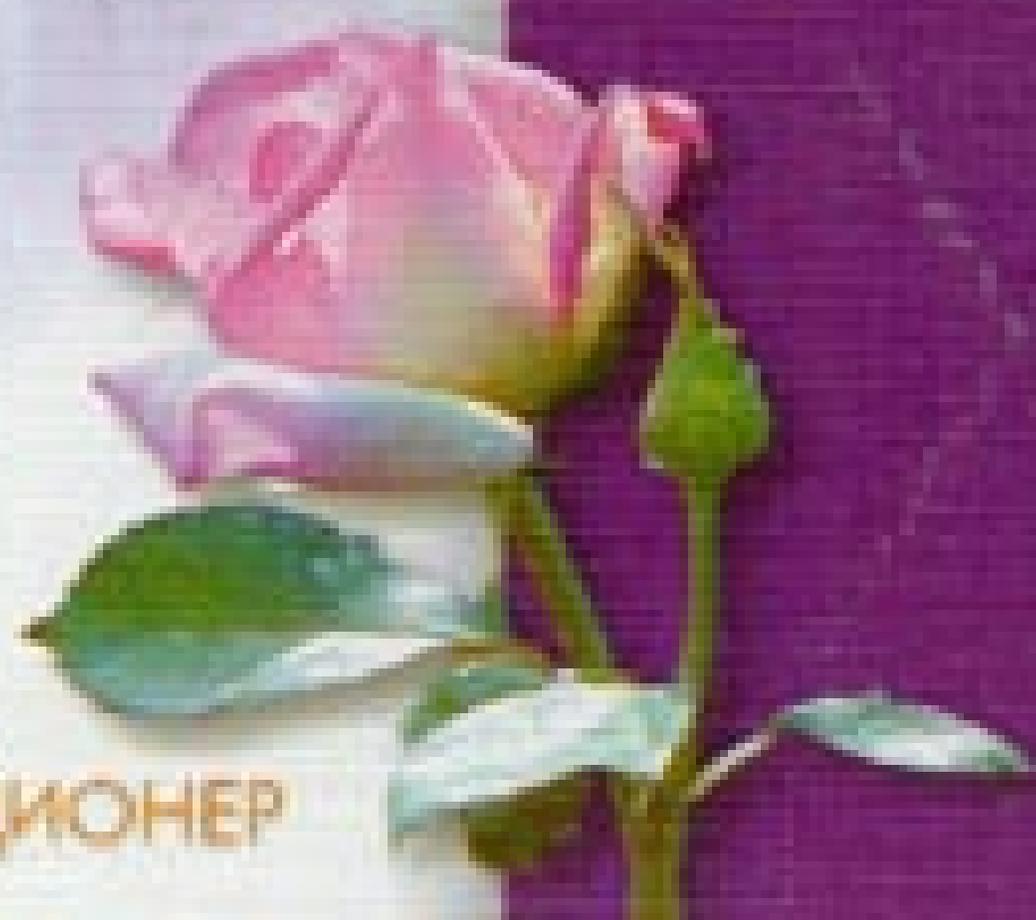


ЩЕРБАКОВА

ГАЛИНА



АКТРИСА
И МИЛИЦИОНЕР

Annotation

Человек слаб и одинок в этом мире. Судьба играет им, как поток – случайной щепкой. Порой нет уже ни надежды спастись, ни желания бороться. И тогда мелькает впереди луч света. Любовь – или то, что ею кажется. И вновь рождается надежда. Потому что Жизнь есть Любовь, а Любовь есть Жизнь...

Произведение входит в авторский сборник «Актриса и милиционер».

-
- [Галина Щербакова](#)

-

Галина Щербакова

Справа оставался городок

Повесть

Улица была обрублена с двух концов.

Сразу после войны трехэтажный «дом-гигант», на строительстве которого Мокеевна работала в тридцать втором году, отдали под общежитие вербованным рабочим. Законы в общежитии свои, порядки тоже, и улица, сговорившись, выстроила против «гиганта» бетонный забор. Собственно, не выстроила – вылила. Сейчас он уже осел, хоть и говорили, что ничего с ним и за сто лет не делается, и росла сверху на заборе трава.

С другого конца Короткой была построена больница. С тех пор улице – ни туда ни сюда. Стала она кургузой, но зато тихой. Машины приезжают только свои. Пш! Пш! Подруливают спокойно, без шума. Да еще «скорая» по улице временами ездит уколы делать старому шахтеру Макару Васильевичу. Вот уже какой год ездит, а он все живет, хоть на улице убеждены: даже если здорового человека столько раз шприцем потыкать – помрет как миленький. А этому не лучше, не хуже.

Верка Корониха, медсестра из гнойной операционной, что живет на этой улице, уверяет, что, если б не было чертова забора и можно было по прямой отвозить в больницу разных больных, побитых и порезанных, была б большая экономия и медикаментов, и медицинских сил.

Последнее время поползли слухи, что улицу сломают совсем – будут расширять больницу. Миром написали куда надо письмо с протестом, все подписали, кроме Героя Социалистического Труда Кузьменко Леонида Федоровича. Он был против. Он так и ходил, гордый своей принципиальностью, не зная, что в последний момент его жена Антонина подпись его подделала, потому что какой же это документ без подписи Героя?

Все одобряли Антонину за решительность, и письмо ушло в Москву. Но ответа все не было, и разговоры стихли. И это можно было

понимать по-разному. То ли ничего и не собирались делать с обрубленной улицей, то ли прислушались к голосу народа и Героя Социалистического Труда.

К тому моменту, с которого мы начинаем рассказ, никаких событий на улице не происходило. В холодке на веранде лежал удивительный жилец этого света, Макар Васильевич. Он думал о зиме, о соревнованиях по фигурному катанию. Он очень любил этот вид спорта и каждое лето мечтал дожить до зимы. Правда, ушла на тренерскую работу очень симпатичная девушка Габи, но Макар надеялся, что ее покажут, когда она – теперь тренер – будет принимать в свои объятия откатавшихся немчиков и будет тереться о них щекой.

– Вот так и лежит целыми днями, – рассказывала соседкам его внучка Полина Николаевна, с которой дед Макар доживает жизнь. – Я так думаю, что он уже ничего не понимает. Спросишь его – мычит чего-то... А не умирает... Ему и самому, бедному, наверное, жизнь надоела...

Никто в это лето не кончал на Короткой школу, никто не женился. Про холеру поговорили – и перестали. Верка принесла из больницы двенадцать килограммов хлорки и раздала всем, чтоб посыпали в уборных. Посыпали. Слойми стояли по вечерам густые запахи улицы – жареной картошки со свининой, подгнивающих в изобилии яблок, хлорки и нежный, как папиросная прокладка в дорогой книге, запах фиалки.

На эти запахи выходила на улицу Мокеевна. Под старой, слинявшей от дождей клеенкой стоял у нее во дворе венский стул с гнутой спинкой. Она ставила его возле калитки, которую здесь называют форткой, гнутой спинкой поворачивала к общежитию, но не почему-либо, а только из-за солнца, которое, будто не желая уходить, по вечерам долго обнеживало островерхую крышу «гиганта» то сверху, то слева, то справа. Садясь, Мокеевна клала руку на палочку с причудливой ручкой, оставшуюся от мужа. Покойник любил ходить в шляпе и с палочкой. Было и того и другого у него много. Шляп – соломенных, фетровых, парусиновых, и палочек – и темных, и светлых, и расписных, с выжженными из разных мест приветами, и даже палка-зонтик – вещь вообще ненужная. Кто это по их грязи и в дождь гуляет?

«Это было папино хобби», – сказала недавно старшая дочь Мокеевны, директор школы в Тюмени. И Мокеевне стало неприятно, вроде Анна чем-то оскорбила покойного Деда. Так Мокеевна еще и при жизни называла мужа. Она помнила, как на улице говорили:

«Дед Сычев как из дому шел? Простой или при шляпе?»

Если при шляпе – значит, не по делам. Шляпа и палочка – это были предметы Дедова гулянья, это на футбол сходить, пиво попить, лекцию о международном положении послушать... По делам Дед ходил, как все, в фуражке. «Раньше люди, – думала Мокеевна, – вообще знали и время, и место. Пили по выходным, свадьбы справляли осенью, ели не часто, но помногу, а сейчас всюду пишут, что надо понемножку, но часто. На кого это рассчитано? На какого такого неработающего человека?»

Мокеевна знала на улице всех и все. В этом не было большого секрета – человек, считай, всю жизнь тут прожил. Но вот как она ухитрялась, посидев три часа у фортки и ни с кем не поговорив, узнать не только, что было в этот день в каждом дворе, но и что случится завтра, это, конечно, улицу несколько беспокоило.

Подошла к ней как-то соседка через три дома, Лукьяновна, с плачем: «У моего что-то страшное доктора находят».

– Знаю, – говорит Мокеевна.

– Господи, откуда ж ты знаешь, если мне только сегодня сказали? – возмущается Лукьяновна.

– Он у тебя уже полгода больной, – говорит Мокеевна, – а я тебе все удивляюсь, ходишь, смеешься. Краситься прошлым месяцем пошла...

– Он тебе жаловался, что ли? – пугается Лукьяновна.

– Не он. Гузно его жаловалось...

– Какое гузно? – совсем теряется Лукьяновна.

– То, что сзади. Оно ж у него совсем присохло. На нем все штаны раньше были в обтяжку, половинки аж играли, а теперь ничего нет. С несерьезной болезни мясо так не пропадает.

Первой узнала Мокеевна, что дал задний ход жених Полининой дочери. И надо же, именно ей Полина доказывала, что Витя уехал в длительную секретную командировку, откуда и писать нельзя. Мокеевна качала головой, жалела Тамарку, а Полину урезонивала:

– Ты только много не брещи. Утопнешь.

– Как вам не стыдно, – возмущалась Полина, – кто это брешет?

– Ты лучше Томке объясни, чтоб она не ходила как с креста снятая. Это ж ей вредит...

– Вам легко говорить, – вздыхала Полина.

Мокеевне, наверное, действительно было легко говорить на эти темы. Было у нее три дочери. Все три были старые девы. И уже окончательно. И думала, и говорила об этом Мокеевна спокойно, что людей удивляло. Разве ж может мать не переживать, если три девки засохли на корню? Но старухе было вроде все равно. А если уж говорить честно, то и не вроде, а на самом деле была она спокойная и счастливая. Не оттого, конечно, что дочери не замужем, а оттого, что все, что можно, уже пережито: смерти, потери, несправедливости – все было, было, было... И заросло. И переживала Мокеевна сейчас счастливую, безмятежную старость. Сидела на крыше своей жизни, с удовлетворением постигая, что карабкаться и выкарабкиваться уже не надо. Сиди себе на душевной верхотуре, озирайся, сверху далеко видно, и радуйся, что завтра не может принести ни потерь, ни неожиданностей. И как о детской дурости вспоминала она иногда о молодом страхе перед старостью. Что с нее, с молодости, возьмешь?

Она с удивлением думала о том времени, когда в гражданскую убили ее жениха. Как кидалась она грудью на стерню и выла. Казалось, что конец всему. Потом в двадцать девятом ее дядьку, у которого она жила с трех лет после смерти родителей, раскулачивали. Выгнали их, простоволосых, из хаты и увезли. Ее, сироту, не тронули. Тоже бежала по стерне, тоже выла. Но забылось и это. Уехала на шахты. Встретила своего Деда Сычева, тогда просто Митю. Ей уже тридцать было, она и не чаяла замуж выйти, а Митя, хоть и моложе был на четыре года, так пристал, такой был настойчивый, что года не прошло с тех пор, как осталась одна, вышла замуж. А потом голод в тридцать втором. Еле-еле выходила маленькую свою Аньку. Ходила голодная «гигант» строить. Воздвигали невообразимую высоту с балкончиками. Вышла раз на третьем этаже поглядеть с такой махины на свою землянку – и чуть сознание не потеряла. «Кто ж тут жить будет? – думала. – Скворцы и то ниже». Только-только новая жизнь стала налаживаться, Митя в шахте стал стахановцем, его портрет в газете даже поместили. Две дочки, что родились после болезненной Аньки, были крепкие, потому что была уже своя корова, хорошая такая

корова, молочная... Все было хорошо, и парень родился. Митя от радости только что на руках не ходил... Назвали Колькой. А тут война... И мальчишку в сорок первом девчонки потеряли. Пошли на ставок купаться, а его на траве вроде оставили... А тут где-то бомбежка. Они ее еще не слышали. Девчонки перепугались до смерти, вылезли, а ребенка – нету. Туда-сюда. Кругом шурфы глубокие, дите, видать, и не заметило. Митя на фронте. Валентина, та, что постарше, стала после Колюшки заикаться. По ночам стала кричать... Корову украли. Есть стало нечего. Когда наши отошли из Донбасса, а немцы еще не пришли, было у них пять дней безвластия. Начался грабеж. Откуда их столько, бандитов, вылезло? Люди по погребам прятались, с топорами спать ложились. Она слышала, как корову уводили. А что сделаешь? Хотела кинуться, о смерти в такой момент разве думаешь? Девчонки на руках повисли, не пустили. Валентина совсем головой замотала, так они стояли и слушали, как сбивали с сарая замок... Она совсем не боялась немцев, а когда пришли, ругалась с ними, скандалила, во двор не пускала. Потом ей объяснили, что ей с рук все сходило, потому что это не немцы были, а итальянцы и румыны. «Один черт!» – говорила Мокеевна. Но когда появились уже в конце оккупации «настоящие» немцы, утихла: поняла, что черт не один. А потом стали все с войны возвращаться, а Мити все нет и нет, нет и нет... Живой, знала, живой... Писал ведь. Куда человек делся, если с 9 мая 1945 года фотографию прислал – стоит возле танка, усы вверх закручены, морда довольная. Видно, снимался выпивши. А потом исчез. И объявился аж через два года. Она уже работу нашла хорошую – базарной. Ходила по базару, собирала рубчики за место. Пока пройдешь по ряду, накидают в сумку и мяса, и масла, и рыбки. Вначале стеснялась, на милостыню походило все это, потом увидела, что это дань не ей, а ее должности, разносит она по базару бумажные квадратики с лиловыми разводами печати, которым цена два рубля, а это ж разве деньги? Место на базаре – все! За него и десяти бы рублей не жалко! Так что то, что приносила она в сумке, было вроде бы справедливо... Так и приспособилась безмужняя Мокеевна к нелегкой послевоенной жизни, а тут Митя и объявился... Худой, весь какой-то шелудивый... Но в шляпе. Он ее двумя пальчиками снял у порога и говорит: «Если простишь – переступлю порог, а нет – так и травить душу не хочу, сразу уйду». Девчонки кинулись к нему, через порог

втащили. Оказывается, повезла его одна медицинская сестра к себе... Да не куда-нибудь, а в Москву. Вот он там два года помыкался и сбежал. Потом он в подробностях рассказал Мокеевне всю историю. И как началось, и как кончилось. Странное дело, не было у нее никакой обиды на ту женщину. Митя рассказывал: «У нее в Москве комната на Тверском бульваре, шесть метров, чистая комната, хорошая, но, поверь, Лиза, я в той комнате чувствовал себя как в пенале. Ночью прямо ужас какой, руками шевелю над головой, задвижку выдвинуть хочу... А женщина она хорошая... Муж погиб... Молодая...» Пошел Митя на шахту, стал опять хорошо зарабатывать, велел кончать Мокеевне базарные дела... И вроде и не было его долгого возвращения. А от незадавшейся московской жизни осталась только привычка носить шляпу и на гулянье выбрасывать вперед ног палочку. «Ну, Сычев – чистый интеллигент», – говорили на обрубленной улице.

А как отгрохали они домище, дочки уехали. Остались вдвоем, копили на машину, мечтали о внуках... У Анны уже высшее образование. Учительница. Вот у Валентины, правда, из-за заикания ничего с институтом не вышло. Поехала к старшей. Работает на фабрике. Прядильщица. А Елена только-только поступила на медицинский. Жизнь вполне хорошая, был бы мальчишечка, тоже подняли бы... И, бывало, лежат они с мужем на двух никелированных кроватях, головами к большому, толстому китайскому ковру, и Мокеевна спрашивает: «А что, Дед, вот эти две кровати поместились бы в той московской комнате?» «Да что ты!» – отвечал Митя. Вскакивал с кровати и ногами в голубых трикотажных кальсонах отмерял шесть квадратных метров. Радостно убеждался, что и в длину кровати не прошли бы. Мокеевна качала головой: «Эх ты, меряльщик! Разве ж в этом дело?» И Сычев смущенно лез под стеганое одеяло: «Ты ж пойми, я в шахте привык согнувшись, но это ж работа... А дома надо чтоб просторно. У нас вон все двери открыты. Воздух!»

А в пятьдесят седьмом присыпало Деда. Хоронили его пышно, как и полагается знатного человека. Мокеевне определили хорошую пенсию. А зачем ей деньги? У нее на сберкнижке вся машина уже лежала. И то ли оттого, что все предыдущие несчастья обязательно сулили нищету и неустроенность, а это было другим, то ли и слез уже больших не осталось, только в стерню Мокеевна грудью не падала.

Шла за гробом в черной гипюровой накидке, высокая, величественная. И казалось, не дочери ее, а она их поддерживает в эту минуту.

А теперь прошло пятнадцать лет. Ни у кого так не родил огород, как у Мокеевны. Помидоры – хоть на выставку. И скажи на милость, ежели брали у нее семена и высаживали рядом, чепуха росла, а не помидор. Отчего это так? И яблоки самые вкусные, картофель весь ровенький и рассыпчатый, и вишни. И куры неслись всю зиму... И дом стоит всегда с чистыми окнами, во дворе и мальвы, и гвоздики, и майоры, и жасмин, и целый угол желтых, горьковатых даже на запах ноготков. Машина из аптеки приезжала специально за ними. Трава травой, цветами даже не назовешь, а оказывается, ценное лекарство, называется – календула. И опять же у нее это лекарство – самое лучшее. Цветок к цветку.

– Почему это так? – спрашивала у Мокеевны Лукьяновна. – Ты, случайно, не ворожишь?

– Ну и дура ты, Лукьяновна, – говорит Мокеевна. И молчит. А что объяснять? Коротко нельзя, долго не хочется. Сказать Лукьяновне, что она со всем на свете в миру, в ладу живет? Не поймет ведь. Ей ворожба понятней. Одинокая и счастливая была старуха Мокеевна. И не знала, не хотела знать, что ждет ее завтра.

Илья привычно выпрыгнул из автобуса и тут же схлопотал замечание:

– Осторожней, молодой человек, не на Красную площадь прыгаете, а в пыль. Людям из-за вас теперь не выйти.

– Извините, не рассчитал, – ответил Илья кому-то за облаком густеющей пыли. – Что у вас остановки не поливают?

– Чего? – возмутились сзади. – Правильно! Природу не жалко! Растрчивай, чтоб ему сподручней было... Лей дуру-воду на землю. А сколько ее осталось – знаешь?

– Нынче никто ничего не бережет... – Осторожненько спускаясь по ступенькам, пассажиры с готовностью продолжали дискуссию.

Илья махнул рукой и пошел через площадь. Он уже знал: не уйди, разговор никогда не кончится. Ехал двадцать минут со станции – все поражался этому мгновенному возникновению любого разговора. Стоит на остановке цыганка с цыганчонком – раз, и уже весь автобус как родной обсуждает цыганскую проблему. Диапазон – космический.

От вопроса, откуда эти цыгане взялись, и до простейшего – почему у них зубы белые, если «Поморин» они в глаза не видели. Кончили про цыган, обратили внимание на бороду Ильи и тут же, прямо глядя ему в глаза, стали обсуждать его внешность. И так вертелся Илья, и эдак, отшучивался, поругивался – бесполезно, пока в автобус не влезла молодичка с мешком хлеба. Тут все переметнулись на тему, выгодно ли в наше время держать свиней, если свинина в магазине всегда. И пошел по автобусу горячий, прямо раскаленный разговор о поросятах. Поэтому, не боясь выглядеть невежливым, Илья ушел от очередной дискуссии о воде. Шел через площадь, думая о том, как занудливо однообразно построены центры всех маленьких городов. Дальше могут быть удивительнейшие улочки и дворики, но в центре... Прямо – горком и райисполком, слева – гостиница, кафе «Барвинок». Попробуй сообрази, где находишься, в Тутаеве Ярославской области или в Каменске Ростовской. Разве вот название «Барвинок»... Понятно, ищите меня на Украине. Илья обогнул красивую, чуть припыленную «Волгу». Возле нее разговаривали двое парней: один – во французской белоснежной рубашке, а другой – черный, в каске, прямо, видать, из шахты; они о чем-то спорили, но и продолжая говорить, проводили бороду Ильи любопытным взглядом.

– Как она у них не чешется? – услышал Илья за спиной. – Я б даже отпустил, но как это подумаю...

В гостинице он получил ключ от номера и буквально бегством спасся от всех попутных этой процедуре разговоров.

– А где ж это будет – Ярославль? На Урале, что ли?... А! На Волге... Рыба у вас есть? Мы недавно на своей машине в Ростов ездили – так рыбцов и не видели... А раньше... Вы на фенольный? Мужчина, а такую вонючую специальность выбрал... У меня по химии еле-еле тройка была, а так мне хотелось в медицинский... Да я б ни одного балла туда не набрала б... И не жалею... Больные – народ капризный, а теперь антибиотики... Старики живут долго... Зайдешь в поликлинику – одни пенсионеры. Плюнешь и уйдешь... А в гостинице люди разные... Артисты филармонии, командированные... Вот вам ключ, если что надо, спросите... Душ? Вот душа нет... Так у нас баня рядом, сразу за исполкомом, сходите помойтесь... Я всегда с дороги моюсь... У нас пыль как собака кусается... Да, да... Вот исполком, двором пройдете, и мужское отделение... Шутите! У нашего

председателя исполкома квартира с ванной... А во дворе душ... Он в баню не ходит... Близко, а ему не надо...

В номере Илья бросил на стул чемоданчик, вымыл под краном лицо, руки. Хоть и рядом баня, а решил отложить это мероприятие до вечера. Надо поесть и пробежаться по разным учреждениям, не так уж у него много времени, завтра суббота, на фенольный попадет только в понедельник, да там работы всего часов на пять, это он знал точно... Вот другое дело... Стоя в гостиничном номере, Илья понял, что начал историю, конца которой он даже предвидеть не может.

Больше всех на свете Илья любил отца. С мамой-покойницей было по-разному. И ссорились, и дулись друг на друга неделями, и был между ними гнев, как была между ними и нежность, такая трепетная, что жена Ильи, типично современная девица – практичная и злоязыкая, постукивая сигаретой по краю пепельницы, насмешливо говорила: «У вас отношения любовников – все слишком пылко. Ты меня выбирал по контрасту?» И действительно, тоненькая, крошечная мама, с великим багажом комплексов и предрассудков, вскормленных всей мировой культурой. Мама – учительница литературы даже не по призванию, а по всему своему существу. И ироничная Алена – длинноногая, длинноволосая, длинноносая, вся вытянутая каким-то причудливым замыслом вверх и чуть-чуть влево. Сидит, наклонив голову влево, щурит глаз левый, усмехается левым уголком губ, и нога левая у нее толчковая. И от всего этого такая ни на кого не похожая, что Илья до сих пор от нее в остолбенении. Ну и конечно же, никаких комплексов и предрассудков, хоть с мировой культурой все в порядке – начитана не хуже мамы.

А папа – это папа. А счастье – это папа ведет за руку Натую. Седой, изысканный папа, которого та же Алена определила соответственно своим ультрасовременным практическим взглядам: «У твоего отца баб могло быть навалом...» Бросить возмущенно Алене: как ты, мол, так можешь? – было бесполезно: она только так и могла. И оттого что отец был выше и лучше всяких представлений о нем, Илье, уже взрослому, казалось, что в жизни, в которой родителей не выбирают, ему выпал самый высокий выигрыш.

Три года назад умерла мама. Совсем еще молодая – ей только только исполнилось пятьдесят. Умерла сразу, без болезни, все говорили: легкая смерть – заснула и не проснулась. Никак не мог с

этим согласиться Илья, и даже не потому, что им всем было от неожиданности в сто раз больше, а от мысли, что мама, ложась вечером спать, могла что-то не договорить, что-то отложить на завтра и уснула с мыслями о завтрашних делах, а завтра не было. Лучше уж пусть болезнь и привыкание к уходу навсегда, и отпущение грехов, не в том, церковном смысле, а просто для самого себя. Но оказалось, что неожиданная смерть не застала маму врасплох. Через неделю после похорон Илью пригласила задушевная мамина подруга Кира Михайловна Рыжова, тоже учительница, с которой мама дружила с самой войны. У Кимиры – так ее дразнили в школе – было накурено, она открыла форточку, а чтоб не было холодно, включила рефлектор. Ногам было жарко, волосы шевелились от ветра, пахло папиросами, весной и сгорающей на спиральях пылью. А Кимира сидела в кресле, сурово смотрела на Илью и говорила непонятное:

– Я против этого. Была и есть. С бзиками живой Любаши я никогда не считалась, их было слишком много, чтоб принимать их всерьез. Но бзики умершего человека принимают характер воли, наказа... Ты не находишь?

– Тетя Кира, – говорил Илья. – Вы мне доступней, как первокласснику... А то я сейчас соображаю не очень...

– Понимаю, Илья. Я сама не очень... – Она достала из кармана стеганого домашнего халата письмо. – Это тебе от матери, – сказала Кимира, – она его написала три года тому назад, когда ее предупредили насчет сердца. Да, да, да... Предупреждали. А чего ты удивляешься? Всех предупреждают. Не волнуйтесь, не утомляйтесь, копите положительные эмоции, избегайте отрицательных... Вот на всякий случай она и написала это письмо. Я отговаривала ее. Но ты знаешь свою маму...

Илья взял в руки конверт. Маминим небрежным, размашистым почерком было написано: «Илюшеньке». И от этого детского обращения – после седьмого класса Илья потребовал, чтоб его называли только полным именем, – выведенного маминой рукой, Илья заплакал. И Кимира заплакала тоже, но спохватилась первая, задымила жадно и, давась дымом, заговорила:

– Давай его сожжем, Илья. Никому от него не будет радости. Поверь старой Кимире...

Но Илья, будто боясь, что она вырвет сейчас письмо из рук, разорвал конверт и вынул оттуда листки. А из листочков выпала бумажка, на которой была нарисована извилистая дорога, какие-то не то кустики, не то домики – мама была неважной художницей, и стоял на этой неизвестно куда ведущей дороге крестик. И слова: «Вот тут, Илюша!»

«Сынок! всю свою жизнь (интересно, во сколько лет я умру?) я собиралась сказать тебе и папе правду. Но не смогла. Дело в том, Илюшенька, что ты вовсе не Илюша, а потерянный в войну мальчик, которого я нашла на дороге, когда бежала из Харькова от немцев. Дело было в сентябре 41-го года, мы ехали дорогой где-то между Горловкой и Константиновкой. Ты спал прямо в обочине. Никого близко не было. Мы – я и бабушка – взяли тебя в машину... Главное тебе скажу: прошла всего неделя, как у меня сын умер. Илюшей его звали. Ему годик был. Я как тебя увидела – так и не отпустила больше. Скажу, правда, мы и назад машиной вернулись – никого и ничего, и вперед проехали. И постояли немного. Много не могли, не знали, где немцы. Бабушка и в стороны ходила, кричала, звала – никого. Так ты и поехал с нами. А документы у меня Илюшенькины все были. Он умер, когда эвакуация началась. Ты, правда, был чуть постарше, наверное, на целый год, и толстый был, а тот Илюша был такой болезненный... Так ты и стал нашим сыном. А папке я ничего не написала. Боялась ему на фронт такое писать, а когда он вернулся и сразу нашел, что ты – копия его брата, так и не хватило духу. И бабушка, умирая, не велела. Хоть сама, пока жива была, все передачи Агнии Барто, все объявления о пропавших смотрела. Но тебя вроде не разыскивали. Прости меня, сынок, за обман. И отцу ничего не говори. Но если тебе захочется когда-нибудь побывать в тех местах, сообщаю все, что знаю. Мы проехали тогда деревню Щербиновку, и справа оставался какой-то шахтерский городок с высокой водонапорной башней. И минут через пятнадцать пошла эта самая дорога, обычная грунтовка, которую я тебе нарисовала. Пыли было очень

много, ничего по сторонам не видно, и дорога неровная, поэтому мы поехали медленно и увидели тебя. Ты лежал в ложбинке, под кустом. Это честно, Илюша, близко никаких ни домов, ни селений не было. Ближе всего городок, который мы проезжали. Но это километров десять – пятнадцать. Мог ли ты сам дойти? Когда мы уже ехали с тобой, слева мы еще один оставили городок. Я потом смотрела по карте. Похоже, что это Константиновка. Но оттуда ты совсем попасть на дорогу не мог.

Письмо оставь у Киры Михайловны. Не надо нести его домой. И не надо, чтоб знала Алена. Такие тайны трудно хранить, поверь мне. Тем более от нашего папки, который почувствует, если вокруг него что-то будет. Я сама удивляюсь, как я только выдержала. Прости, Илюша. Если бы ты знал, как сильно я тебя люблю.

Мама».

Странно, но ничего не почувствовал Илья.

– Ну и что? – спросил он у Кимиры. – Что, я их любить буду от этого меньше?

– Вот и я ей об этом, – обрадовалась Кира Михайловна. – Но ты же знаешь ее комплексы?

– Ладно, – сказал Илья. – Я пойду? Письмо спрячьте, зачем оно мне? Бедная мама! Скажите, это могло повлиять на ее здоровье?

– А то нет! Она, бывало, придет ко мне и плачет: а вдруг все-таки где-то жива Илюшина мать? Тебе бы она давно сказала, а вот отцу боялась. Ей все казалось, что он этого не переживет. У них ведь самый первый ребенок умер в тридцать девятом. Круп. А потом второй родился. Тоже слабенький. А тут скоро война... Ну, в общем, все одно к одному. После войны – ты был маленький – они еще хотели ребенка. Родился мертвый. Как я понимаю, у твоей мамы рефлекс отрицательный. Тогда это не проверяли, просто умирали дети. А ты был жив. И отец твой смеялся, что в тебе сила всех его возможных сыновей. Ты ведь действительно был здоровущий.

Во дворе отец играл с Натулей. Она сидела в песке, а он на нее смотрел и что-то ей рассказывал. Они все еще были после смерти мамы не в себе, но отец ни разу не забыл, что Натуле надо варить кашу, надо ее прогуливать. Даже в тот день, когда мама, удивленная и холодная, лежала на диване. Тогда, прислонившись левым виском к двери, как-то по-собачьи скулила Алена, а Илья требовал по телефону, чтоб прислали других врачей, хотя на столе уже лежала справка... А папа вдруг решительно встал и пошел на кухню, потом вышел с эмалированным ковшиком и ласково так говорит Алене: «Детка, а где у нас манка стоит? Что-то я ее не вижу...»

И теперь он все время с Натулей. Он работает в вечерней школе, и день у него свободный. Вот он и возится с ней, ни с кем не деля заботы.

– Привет, папа! Наташке не забыл панамку надеть, а сам сидишь с раскрытой головой...

– Неужели? – Отец рассеянно проводит по волосам. – Это я оплошал, сынок, оплошал. Ну что там Кимира? Все дымит?

– А что ей сделается?

– Ты ходи к ней, ходи, – говорит отец. – Она мамку очень любила, а человек трудный, неуживчивый, кроме мамки, у нее никого не было. И зови ее к нам.

– Я позвал, – врет Илья, весь до боли переполняясь невыразимой нежностью к отцу. – Я принесу тебе шляпу! – И он бежит в квартиру, находит на шифоньере шляпу, берет ее и уже хочет бежать назад, как ловит в зеркале свое отражение – уставший парень с неухоженной подрастающей бородкой смотрит на него в упор. «Откуда ты? Чей?» – спрашивает парень. И молчит Илья, не испытывая от вопроса ни возмущения, ни боли, одно тупое удивление-неудивление. «А может, мальчика-то и не было!» – говорит он вслух. И тот, в зеркале, тоже шевелит губами. «Чего я пришел?» – думает Илья. И тут же, вспомнив, перескакивая через ступеньки, несет отцу шляпу.

– Спасибо, сынок! – говорит тот. – Знаешь, Татка – удивительное существо. Ты – копия мой брат. А она – это почти невероятно – две капли воды прабабка. Моя мать. Никакого беспорядка. Ты посмотри, как она методична и сосредоточенна.

Натуле полтора года. Ей столько, как тому мальчику, что лежал в сорок первом в ложбинке... Боже, какой ужас!

– ... Если бы мы знали нашу родословную, а не были бы Иванами, не помнящими родства, – продолжает отец, – уверяю тебя, мы находили бы себя в предках и могли бы быть осторожней, осмотрительней, а может, наоборот, смелей, отважней: человек так плохо знает себя. И тем более то, что он может, на что он способен. Тебе, Илюша, не кажется, что победители – это те, которые сразу себя преувеличили? А? Прабабка Татки была очень решительная женщина. Это обязательно надо помнить.

Знал бы ты, отец, о чем говоришь...

* * *

Начальник милиции, молодой круглолицый парень, с любопытством слушал Илью.

– Сейчас мы все это заполним и начнем наводить справки.

– Послушайте, – умоляюще сказал Илья. – Я, наверное, все не так объяснил. Мне не надо гласности. Если вы всю милицию поднимете – мне это ни к чему. Я хочу тихо. Может все оказаться ошибкой? Может. Зачем же людей тревожить?

– Ты даешь! – удивился начальник. – Как же без людей можно узнать?

– Элементарно. Помогите мне быстро получить справку, не пропал ли кто из детей в сорок первом на этой дороге.

Он подошел к карте района и авторучкой поставил точку. За три года, прошедшие со дня смерти матери, Илья столько пересмотрел разных карт – геологических, топографических, физических, даже карт погоды, что мог с закрытыми глазами показать любое место в районе.

Начальник милиции нахмурился.

– От людей не скроешь, – сказал он. – Попрошу я в загсе справку, а они меня тут же спросят: зачем?

– Но вы не обязаны ведь им давать отчет?

– А люди дураки? Они тебя не видели? Я тебя заметил, как ты только с автобуса спрыгнул. У нас бородатых еще нет...

– Ну, нельзя тихо, так и не надо, – махнул рукой Илья. – Это, может, и к лучшему. Считайте, что я у вас и не был.

– А мы с тобой ровесники, – будто не слушая Илью, говорит начальник, – может, мы с тобой в одном роддоме рожались? – И обрадовался: – Слушай, а это ведь интересно! Сейчас позвоню в загс, там у меня еще по комсомолу знакомая сидит. – И, поясняя, добавил: – Я тут недавно. Вторым был в райкоме комсомола. – Он поднял трубку, сразу приосанившись, но от серьезности делаясь еще более молодым и круглолицым.

«Неужели я таким же пацаном кажусь? – думал Илья. – Это даже неприлично. В древности, где-то читал, тридцать лет были уже глубокой старостью, а мы все сопляки... Мальчишечки...»

– Занято, – сказал начальник, хотел звонить еще, но тут открылась дверь, и в комнату вошла пожилая женщина с большой плетеной сумкой.

– Извиняюсь, – сказала она Илье. – На минутку... Не лезет, сынок, чертова корзина в автобус. Что ж, я пешком пойду? Ты, Ваня, привези ее вечером на «козле», в крайнем случае скажешь Феде, он знает, как ее сверху привязать. Когда мы за гусями ездили...

– Да ну вас, мамаша, вечно у вас истории! – возмутился Ваня, но Илья видел, возмущение начальника было формальным, рассчитанным на него, чужого, а на самом деле Ваня не сердился на мать и распоряжение ее выполнит неукоснительно и, может, даже с удовольствием. – Послушайте, мама, – вдруг сказал он, – у нас в войну дети пропадали?

– Господи Иисусе! – быстро перекрестилась мать. – Как это – пропадали? На mine взорвались двое, немцы ее, когда отступали, в клуб заложили... В шурф парнишка упал...

– Чей? – встрепенулся Илья.

– Макарихин. Первый класс закончил и упал... Такое было горе.

– А маленькие... Чтоб год или два? Не слышали, мама? – Начальник Ваня заглядывал матери в глаза. – Раз – и пропал. Такого не было?

– Цыгане, что ли? – поинтересовалась мать. – Ходили слухи, что они детей воруют, но я не знаю. Зачем их красть, у ихних баб, извиняюсь, и так сиськи не просыхают.

– Это точно, – согласился Ваня.

– А тебе зачем? – спросила мать. И теперь уже в упор посмотрела на Илью. – Нашелся кто-то или кто ищет? Теперь про это много пишут.

Через тридцать лет встречаются дети с родителями. Вот несчастные, вот горе-то... – И она снова внимательно посмотрела на Илью.

– Да нет, – сурово сказал Ваня, – никто никого не ищет. Сведения запросили в область по этому вопросу.

– Ну конечно, – возмутилась мать, – делать больше нечего. Что хулиганство на каждом шагу, это ладно, – они сведения собирают. – И уже совсем с осуждением мать смерила Илью с ног до головы. – Ну напиши им, напиши что-нибудь. Ты ведь про войну много чего знаешь, – закончила она насмешливо и, оставив корзину у стены, пошла к двери. – А еще у Мокеевны в сорок первом дите пропало. Тоже в шурф провалилось. Девчонки в ставке купались, а пацана на бережку оставили... Ну и не углядели... Там недалеко глубокий шурф был... От румянцевской шахты остался...

– Привет! – удивился начальник. – Ставок – где, а шурф – где?

– А куда ж дите делось? От оно и пошло, и пошло...

– А дорога там была? – хрипло и тихо спросил Илья. – Мог ребенок на нее выйти?

– Дорога? Так дорога ж в другой стороне! За бугром. Чего б оно туда пошло? Дите?

– А чего оно к шурфу пошло? – резонно спросил Ваня.

– Смерть повела, – сурово сказала мать. – И не махай на меня руками. Твое дело не верить, а я знаю, когда к человеку, даже дитю, приходит смерть, она его куда ей надо, туда и ведет...

– Тю на вас, мама, – смутился Иван.

– А ты на меня не тюкай, – гордо ответила мать. – Мне ты не начальник...

– Ну а в шурф потом лазали? – перебил ее Илья, зябко поводя плечами.

– А кто ж это полезет? И как? Мужиков уже не было, а если б и были? Там же газ! Мокеевна, когда немцы церковь открыли, молебен отслужила. Певчих к шурфу водила. Попели. Помолились. Ей, бедной, досталось в войну. Три девки, покрутишься... Когда она базарной устроилась, мы ее выручали... Все кидали в кошелку. И жратву, и что старенькое... Зато сейчас какая она богатая... Одна в хоромах, и денег куча. А счастья нет...

– А муж? – тихо спросил Илья.

– Засыпало его в шахте. Передовик был, а копеечку любил. Больше всех в забое зарабатывал. Ну и лез не глядя куда, чтоб две-три нормы.

– Она возле тетки Польки живет? – спросил начальник.

– А где ж ей жить? Живет! Я ее уже, считай, лет пять не видела. Она теперь на базар не ходит, старая, да говорят люди, у нее из каждого гвоздя дерево растет... Я пойду, Ваня. Ты корзину не забудь привезти. Я помидоры в нее завтра собирать буду. – И, величественно кивнув Илье, мать ушла.

– Ну? – вскочил из-за стола начальник. – Подходит или нет? Смотри на карту. Видишь, ставок?

Илья знал этот ставок как свои пять пальцев. Да, действительно, лежит недалеко от дороги, но ведь мама о нем ни слова...

– А его с дороги видно? – спросил Илья. – Ставок ваш?

– Должно, а как же? Тут же триста метров... Хочешь, мотнемся туда на машине?

– Потом, – задумчиво ответил Илья. – Ты мне данные про этого мальчика дать можешь?

– Проще пареной репы! Сейчас! – И Иван выскочил.

А Илья вдруг сообразил, что, кажется, он тоже поддался этой всеобщей манере говорить запросто, по-свойски. Все держал расстояние, а тут сам перешел на ты. Уже Ваня – друг, Ваня – товарищ. А может, надо сейчас, времени не тратя даром, сматывать отсюда удочки? Как говорится в какой-то Наталкиной книжке: одним мальчиком меньше – житейское дело! Но Ваня, свой человек, уже возвращался с бумажкой.

– Во смотри! – говорил он. – Николай Дмитриевич Сычев. Родился 15 декабря 1938 года. Мать – Елизавета Мокеевна, нет, Мокиев-на Сычева, отец Дмитрий Иванович Сычев. Умер 15 сентября 1941 года. Пятнадцатого родился – пятнадцатого умер... Ясно?

– Не умер, возможно, – тихо сказал Илья.

– И это будет очень радостно, – весь расплываясь какой-то уж совсем детской улыбкой, сказал Иван.

– Где она живет?

– Рядом с теткой Полькой. Тю! Что это я говорю! Есть у нас одна обрубленная улица, не подъехать, не подойти без поллитры. На ней. Ты так прямо и пойдешь?

– Не представляю, – растерянно сказал Илья. – Я ведь абсолютно ни в чем не уверен. О ставке вообще не сказано ни слова. И дорога, твоя мама говорит, далеко. Но посмотреть, познакомиться надо. Понимаешь?

– Еще бы! – Ваня тер бычковатый круглый лоб, старательно собирая на нем какое-то подобие морщин. – Слушай. Поселись у тетки Польки. А? В гостинице мест нет, стрелковые соревнования...

– Но есть ведь... – поправил его Илья.

– Тебе что, на самом деле собрать соревнования? Так я мигом! Позвоню на шахты, и через два часа мне гостиницы не хватит...

– Не надо, – засмеялся Илья. – Ты меня порекомендуешь этой женщине или как?

– В комсомоле на учете ее дочка сидит. Я ей официально предложу. Она девица огорченная, у нее жених сбежал, так что ей даже будет приятно хоть в одном доме с мужчиной, извиняюсь, переночевать... Хоть ты и при кольце... – И вдруг, озорно сверкнув глазами, добавил: – Сними, а? Тебе ведь все равно, а ей приятней... Поживешь у них два денька, в понедельник расскажешь. А то я к тебе в воскресенье прикачу, смотаемся на ту дорогу.

И Илья, удивляясь своему подчинению, снял и спрятал в нагрудный карман обручальное кольцо.

– Другое дело! – сказал Ваня. – И не смущайся. У них дом большой и часто ночуют приезжие. Сад, душ во дворе, телевизор... Это тебе не гостиница. И дед у них, лет ему сто, он сам не знает сколько, все никак не умрет... – Иван внимательно посмотрел на Илью. – Ты чего скис? Не дрейфь...

– А ты не трепись. Я во все это не верю.

– Ладно, ладно. Я молчу. Одно обидно, думал, мы с тобой вместе рожались, но ты меня постарше почти на год...

– Не я, а – он, – сказал Илья, показывая на бумажку. – Я, между прочим, по документам тридцать девятого года рождения. Майский.

– А я в августе... – почему-то обрадовался Иван. – Но это не важно, ты иди погуляй. А к шести заходи ко мне, Томку я к себе приглашу... – Он помахал Илье рукой и, вздохнув, сел за свой начальственный стол.

Выйдя, Илья увидел переполненную приемную; вся изнервничавшаяся секретарша, опалив Илью ненавистью, громко

бросила ему вслед:

– Слава Богу! Ушел. Деятель бородатый. Только ему вроде нужно...

Илья вышел на пыльную площадь. У горкома стояло такси.

– Не покажете мне окрестности? – наклонился он к опущенному стеклу.

– Чего? – возмутился шофер. – Делать нечего, что ли?

– Вы знаете, действительно нечего ближайšie два часа. И хотелось проехать в сторону Константиновки.

– Я так не вожу, – сердито сказал шофер.

– Какая же вам разница? Я же плачу!

– Три рубля! – отрывисто сказал шофер.

– Ну и что? Три так три, – согласился Илья и сел рядом.

– Поехали? – удивился шофер и, посмотрев на Илью насмешливыми глазами, добавил: – Только я счетчик закрою, чтоб тебе не так обидно было. Идет?

И снова Илья подивился этой откровенной, то искренней, то нагловатой, манере общения. Водитель засунул в счетчик путевой лист.

– Вот и гляди теперь по сторонам ровно на три рубля. Так ты хочешь в Константиновку? Поехали! – И, взметнув облако густой жирной пыли, такси уехало...

Девушка протянула Илье вялую, безжизненную ладонь.

– Тамара, – сказала она.

– Ну вот и ладно. Принимай гостя. Покажи волжанам, как это хохлушечки умеют.

Илья с удивлением посмотрел на Ивана. Что случилось с человеком? Голос начальственно тверд, и взгляд без пацанячьей растерянности, и даже вполне естественно возникла на лбу морщинка. Неужели это так его Тамара преобразила? Вроде не та фигура. Сонная, застывшая...

– Так мы пойдем, Иван Петрович? – бесцветно спросила Тамара.

«Понятно, – сообразил Илья. – Он же сейчас Иван Петрович». И он понимающе улыбнулся начальнику милиции. И Иван, чтоб не видела Тамара, тоже улыбнулся, даже слегка подмигнул круглым серым глазом: мол, мы с тобой – одно, а она – другое... Соблюдай дистанцию, и будет порядок. Илья вышел с Тамарой на площадь, а на пороге гостиницы стояла бойкая администраторша. Она очень

удивилась, когда Илья вернул ей ключ от номера. И теперь, видя его вместе с Тамарой, откровенно качала головой.

– Домой? – спросила она Тамару, хотя куда еще после работы могла идти девушка. – С гостем?

Илье стало неловко: вот теперь из-за него наплетут еще чего зря на девчонку, но той вроде все было безразлично. Она топала рядом, низенькая, тяжеловатая, и Илья не знал, о чем с ней говорить. Тамара вела его узенькими переулочками, люди жили здесь тесно друг к другу, часто из двора кто-нибудь подходил к забору, и Тамара отвечала на разные вопросы:

– Здравствуй, Тома! Чи живой ваш дед?

– А товарища, Тома, ведешь не нашего? Или я кого не признаю?

– А твой не объявился? Сукины дети – эти современные парни.

Илья видел: вопросы – предлог. Просто всем интересно на него поглядеть, и снова он удивился этому несдерживаемому любопытству. И где-то глубоко слабым ростком образовалась мысль: «Я совсем другой». Мысль была такая беззащитная, что Илья не знал, что с ней делать. То ли уверовать в нее без остатка, – тогда смотри на все с юмором, ничего в этой истории нет, чтоб относиться к ней серьезно, – то ли придушить ее, мыслишку. Какой же ты, к черту, другой? Ты такой же, как они. И перегнувшаяся через забор женщина – твоя троюродная тетка, а круглолицый парень с косо повисшим на глаз чубом – твой, извините, кузен?

Они вышли на бугор, и сразу резко запахло больницей. В чахлом садике ходили в больничном обмундировании мужчины и женщины, ходили чинно, как в фойе театра.

– Нам сюда, – сказала Тамара.

Потом они шли по улице, короткой и тихой. Солнце уже заходило. Сейчас оно лениво лежало на крыше единственного здесь трехэтажного дома. Спиной к нему на венском стуле сидела старуха, положив руки на причудливую, с лошадиной мордой, палочку. Лошадь насмешливо выглядывала из тяжелых старухиных ладоней.

– Здравствуйте, Мокеевна! – кивнула Тамара, а Илья будто зацепился за невидимый барьер. Он стоял перед старухой, размахивая полосатым чемоданчиком, сжавшись, как для удара...

– Проходи, – сказала Мокеевна. – Не засти свет. Старух не видел?

А Тамара стояла уже у калитки соседнего дома и ждала Илью. В невидимой преграде образовалась щель, и как-то боком Илья просунулся в другое пространство, где не было старухи, насмешливой лошади, ленивого солнца, лежащего боком на крыше... Тамара звякнула щеколдой, и они вошли во двор.

Тетка Полина собрала ужин. Они сидели за большим столом в пристроенной к дому кухне. Печь была накрыта газетами и вся уставлена разными банками.

– Летом мы топим во дворе, – пояснила Полина, внося на сковороде картошку.

Илью посадили у открытого окошка, и он тут же увидел лежащего у стены на высоком помосте старика. Дед был укрыт теплым стеганым одеялом. Маленькая усохшая голова с хилым венчиком белых волос лежала на высоких цветастых подушках. Полина положила старику на грудь фанерку и прямо через окно подала стакан киселя. Дед неожиданно цепко ухватился за стакан и сам подтянулся вверх.

– Морока с ним, – сказала Полина. – Уже десять лет не встает. А телевизор смотрит. – Илья увидел, что в углу кухни, прямо напротив старика, стоит телевизор. – Что там он понимает, неизвестно, но включаем каждый день.

Полина говорила спокойно и громко, а старик равнодушно пил кисель.

– Он что, не слышит? – тихо спросил Илья.

– А кто его знает? – ответила тетка. – Иногда неделями молчит, а то как что ляпнет...

И снова у Ильи возникло то ощущение преграды, которое было там, на улице. Собственно, что, он разве не знал об этом? Есть даже такая расхожая метафора: между ними выросла преграда. Не знал. Не знал, что это так реально, раз – и ты в другом измерении, кричи не кричи.

– Вы ешьте, – с обидой сказала Полина. – Или невкусно?

– Я ем, ем, – торопливо ответил Илья.

Тамара, подперев ладонью щеку, ела так же уныло, как жила. Илье было ее жалко, как ему всегда бывало в детстве жалко игрушек, из которых он сам вынимал заводной механизм. Только-только вертел головой медведь, постукивая по барабану, а тут замер с раскрытым плюшевым ртом и не донесенной до барабана палочкой. Рыдая, Илья

вставлял все по старым местам, но никогда ему не удавалось оживить игрушку. Это умел только отец... А Тамара уже не ела, а смотрела куда-то в сад. И Илья подумал, что сейчас она похожа на Жанну Самари, но лишённую цвета и жизни. Оказывается, и так бывает: картина живее человека!

– Вы похожи, Тамара, на одну женщину с очень известной картины...

Но она не спросила с какой. А только вздохнула и стала собирать посуду.

– Спасибо, – сказал Илья. – И не беспокойтесь обо мне больше. Я погуляю, покурю... А вы распорядитесь своим временем, ради Бога.

Тамара пожала плечами и ушла с тарелками; Полина пошла кормить поросенка; дед, сложив на фанерке по-покойнически руки, разглядывал Илью.

– Ты ей про какую картину говорил? – спросил он отчетливо, хоть и тихо.

От неожиданности Илья поперхнулся:

– Картину? Ренуара. Жанна Самари.

– Не видел, – сказал дед. – Он кто, Ренуар?

– Французский художник...

– Французы в бабах разбираются. Что ж он некрасивую рисовал?

– Почему некрасивую? – удивился Илья. – Очень красивую.

– Чего ж ты Томке врешь? Памороки забиваешь?

– Да нет же! – хотел пояснить Илья, но дед плотно закрыл глаза и отвернул голову от Ильи: аудиенция была закончена. «Черт знает что обо мне решил! – думал Илья. – Вот тебе и глухой».

Он вышел во двор. За невысоким штакетником начинался двор, из которого несся пьяный густой фиалковый дух, а возле калитки этого двора все так же сидела на венском стуле Мокеевна. Полина подошла тихо, встала рядом с Ильей.

– Вы в городе фиалку небось и не нюхаете? – спросила она.

– Почему? Мама всегда на балконе сажала, – ответил Илья, вспоминая, как осторожно делала это мама, боясь, чтоб фиалки было не слишком много.

– А кто у вас мама? – любопытничала Полина.

– Она умерла. Была учительницей.

– Царство ей небесное, – перекрестилась Полина. – А папа жив будут?

– Да, – коротко бросил Илья. – А эта вот женщина, – он показал на Мокеевну, – одинокая? Никого во дворе не видно.

– Дочки у нее в городе, – с готовностью сообщила Полина. – Все три старые девы. А мужа схоронила уже лет как пятнадцать. Так и живет одна. Днем по саду ходит, ночью – по дому, а вечер весь сидит, улицу сторожит.

– И что? Никакой родни больше и нет? И не было?

– Сама она сирота. Кроме дочек, никто никогда к ней не приезжал... А сейчас и дочери не очень ездят. Старшая и средняя – аж в Тюмени. Это ж какое расстояние! Младшая, Ленка, доктор. В Бердянске. Эта почаще бывает... Ничего! Хоронить приедут, потому что есть что поделить... Вы когда, извиняюсь, в уборную пойдете, обратите внимание на ее сад. Такого ни у кого нет. У нее все растет. Я думаю, что она какой-нибудь заговор знает...

– Опять вы, мама... – Тамара стояла рядом.

– Тьфу ты! – вскрикнула Полина. – Ненавижу, когда кто крадьком. А тогда объясни, почему у нее все так растет? Даже эта фиалка. Вы гляньте, Илья, не знаю, как вас по батюшке, на мою... Гляньте. – Возле крылечка, еле-еле держа на тоненьком стебельке блеклые, рахитичные головки, торчали фиалки. – Я на полтинник семян купила, всю землю удобрила, а ничего... – возмущалась Полина.

– От Мокеевны пахнет. Чего вам еще надо, мама?

– Вроде дело в том, что пахнет. Просто обидно.

– Что ж у нее одни дочери? – Илья очень боялся, что своим любопытством выдает себя с головой, что дед, который, как теперь Илья знал, хорошо слышит, все понял, но Полина радостно замахала руками:

– Был, был у нее хлопчик. В шурф провалился в сорок первом. Мы тогда все купаться ходили. Школа не работала – немцы шли. Детвора что хотела делала. Я тогда с ее девчонками на ставок пошла. Ну и мальчишечку взяли. Несли его на руках то я, то Анна, старшая. Подружка моя. Она меня всего на два года моложе. Ну, купались, бегали. Дите на песочке сидело. Мы из ставка воды в майках принесем – молоденькие, дурные – и поливаем его. А он довольный. Аж фырчит! А потом вылезли – а его нет. И туда, и сюда. Я как сейчас понимаю,

надо было еще искать, может, он до шурфа еще и не дошел, а мы ж испугались. И домой с ревом. Ну, вернулись уже через время со взрослыми. Дед мой побежал, Мокеевна, конечно, еще кто-то там... Да так и не нашли. До вечера ходили, а вечером немцы пришли...

– А может, кто нашел его? – тихо спросил Илья. – Мог быть такой вариант?

– Ой, Господи! – запричитала Полина. – Мокеевна потом все деревни обошла. Никто и не видел. Да кому оно в такой момент, чужое дите, нужно? Сами подумайте. Ужас такой приближался – немцы. Мокеевна молодец, потом хороший молебен отслужила, моя мама-покойница петь ходила... – Она кивнула головой в сторону старухи. – Вон, встала. Закончила свое дежурство.

Илья смотрел, как внесла во двор венский стул Мокеевна, накрыла его клеенкой, задвинула ворота металлической щеколдой и пошла к дому. Палку с лошадиной мордой несла под мышкой; мимо соседей, что стояли во дворе, прошла не глядя. Вошла в дом, зажгла на такой же, как у Полины, пристроенной кухне свет и старательно задернула белые занавесочки на окнах.

– Вот и все, – сказала Полина. – И не страшно ей одной. Я б, кажется, с ума сошла. Нас двое с Тamarкой, деда я не считаю, и то временами жутко. Я почему и не возражаю, если Иван Петрович кого пришлет ночевать. Чужих, конечно, не возьму, а если он советует – даже рада, Илья, не знаю, как вас по бабушке.

– Спасибо вам, – сказал Илья. – Мне у вас нравится.

– Ну и слава Богу, – обрадовалась Полина. – Я вам постелю на веранде, чтоб спалось лучше.

Женщины ушли, а Илья стоял и смотрел на окна напротив. «Что я должен сейчас чувствовать? – думал он. – Что?» И ловил себя на мысли, что, чем подробнее узнавал он историю с пропавшим у ставка мальчиком, тем невероятней было представить, что это о нем. История обрастала деталями – из майки мальчика поливали водой, – и в таком виде она существовала совершенно самостоятельно. Ничего, как озарение, внутри не вспыхивало, не притягивались невидимым внутренним магнитом две части его биографии. При чем здесь он? Тогда на улице он от растерянности остановился, не ожидал сразу первой увидеть Мокеевну, но ведь это просто удивление. Да и она сама как сказала? «Проходи. Старух, что ли, не видел?»

«Вот и хорошо, – думал Илья. – Все это чепуха. Мама ничего не писала про ставок, его и не видно с дороги, там все холмы, холмы... В одном месте только, когда таксист разворачивал, битым стеклом мелькнула вдали вода... И не надо себе морочить голову...» Разве сможет он полюбить, как маму, старуху Мокеевну? А если не сможет, то вправе ли он поднимать с глубины румянцевской шахты отпетого и забытого мальчика? Даже если вдруг это он сам?

Илья пошел в сад. Из шланга булькала в уже напившуюся землю вода, и неожиданно для себя он переложил шланг в другое место и руками раздвинул сухие комья земли, давая воде дорогу. Потом помыл под шлангом руки и теперь тряс кистями, чтоб быстрее просохли. От такого малюсенького полезного дела на душе стало покойно. И тут он увидел Мокеевну. Она шла по своему саду и несла сухие ветки. Возле самого забора она остановилась, бросила ветки на землю, а потом по одной стала запихивать между досками забора.

– Давайте я вам помогу, – сказал Илья.

– А ты кто будешь? – спросила старуха, выпрямляясь и поправляя сдвинувшийся на глаза платок.

Илья увидел белую полоску лба, всегда скрытую от солнца и теперь придававшую лицу какое-то особое, беззащитное и растерянное выражение.

– Я здесь в командировке, – ответил Илья. – А в этих местах жил в глубоком детстве.

– Где? – уточняла старуха.

– Где-то здесь, точно не знаю, – смутился Илья.

– А кто твои родители?

Илья назвал свою фамилию.

– Таких у нас не было, – твердо сказала старуха. – Тут ты не жил.

– Может, я что-то и путаю. Мне давно это мама рассказывала...

– Путаешь, – подтвердила старуха. – Я тут с тридцатого года. Всех знаю. – И, нагнувшись, она снова стала затыкать в забор ветки.

– Так помогу? – переспросил Илья.

– Я знаю – как и знаю – зачем. А тебе ведь побаловаться. Ты вон шланг с места на место перенес. Пустил воду на картошку. Кто ж ее, водянистую, есть будет? Разве ж ее так поливают? Шланг ведь на виноград нацеленный лежал.

– Я – балда, – смутился Илья и пошел исправлять дело своих рук. – Вижу, тут сухо, там мокро. Думаю, несправедливо.

– Одному – одно, другому – другое. Одной справедливости нет, – сказала старуха. – Это только для глупого: чем одинаковей, тем лучше.

– Да, натворил бы я своей хозяйке бед, – искренне сокрушался Илья. – Вот уж действительно, услужливый дурак опаснее врага.

– Ничего, – сказала старуха. – Полина быстро бы дело поправила, она еще придет помидоры поливать... – И, снова выпрямившись, она насмешливо спросила: – Кольцо-то зачем снял? Чего ж это Томка, незрячая, что ли?

Илья вспомнил о кольце, что лежало в кармане пиджака. Действительно, зачем он его снял?

– Оно в пиджаке. Я, собственно, не скрываю. – И сам возмутился: почему он оправдывается? Ведь он ничего плохого не сделал.

– Руки мокрые, блестят, а это место светлое, – поясняла старуха. – Я еще на улице обратила внимание. Томку не надо обманывать, она и так вся как в сиропе.

– Да нет, что вы! – сказал Илья. – И в мыслях такого не было.

В сад вошла Полина.

– А! Вот вы где! Беседуете! Я ему сейчас, Мокеевна, рассказывала, как мы Колю потеряли. Сколько ж это лет прошло?

– Тридцать, – сказал Илья.

– А вы откуда знаете? – удивилась Полина и тут же засмеялась: – Ну правильно. Я ж сама рассказала. Знаешь, чего я, Мокеевна, вспомнила? Мы его тогда из маек поливали. Сколько там воды успеешь донести, а он рад! Смеется. А мы ему на спинку льем, прямо на родиночку. Ты помнишь, Мокеевна, у него родиночка на спине была, крупная такая. В тебя это он был или в Митю?

– В Митю, – спокойно сказала старуха. – Они у меня были меченые.

– Вот как бывает в жизни, – жалостливо сказала Илье Полина. – А теперь вот Мокеевна одинокая...

Илья молчал. «Меченый ты мой», – сказала ему Алена. А потом привезли из роддома Наташку, развернули, считали пальчики, повернули на животик – а на спинке такая же, как у отца, метка. «Боже мой! – засмеялась Алена. – Меченые вы мои!»

– Идемте, покажу, где я вам постелила, – говорит Полина, и они идут к дому, а за спиной – хрысь! хрысь! – Мокеевна вставляет сухие ветки в штакетник.

– От моих кур бережется соседка. Они у нее помидоры клюют, – поясняет по дороге Полина. – Ох и хозяйственная старуха!

«Мать! – думает Илья. – Мать!»

И тут родилась боль. Ни на что не похожая. Боль как смерть. Когда знаешь, что сопротивление бесполезно. Пришла, схватила, и уже ничего нет, кроме нее. «Наташка! Папа!» – заставлял себя думать Илья и ничего не чувствовал. Издалека улыбались они ему – милые, такие хорошие лица, щурилась левым глазом высокая женщина – примета другой, доболевой жизни.

– Удобно будет? – спросила Полина.

– Да, спасибо, – ответил Илья.

Она открыла окно и ушла. Пахнуло фиалкой, прошла мимо окна умершая Жанна Самари. Голубой свет от телевизора падал на маленькое дедово лицо. Приподнявшись на цветастых подушках, он внимательно смотрел какую-то передачу. Вернулась из сада старуха, вошла в дом. Боль по-хозяйски располагалась в Илье.

Мокеевна включила электрический чайник. Он нагревался долго, и она вышла на крыльцо. Привычным движением достала из-за двери кусок толстого войлока, положила на приступочку, села. Полина на веранде стелет гостю. «Кто ж так крахмалит белье? – думала соседка. – Всю жизнь она такая невдалая. И Томка такая же будет. Водят к себе постояльцев... Чужой человек в хате...» Старуха улыбнулась, вспомнила смешного бородатого парня. Штаны на нем выцветшие, из простой материи, зато на них шелковая латка с собачьей мордой. И лицо у парня виноватое и нахальное сразу. Раньше таких лиц не было. В мужике была определенность. Кто размазня, кто ловкий, кто дурак дураком, кто головастый – все видно сразу. А сейчас не поймешь. Еще у них тут, в поселке, ничего, народ простой, рабочий, а телевизор лучше не включай. Таких иногда показывают... Кто за этим, интересно, следит? А дед телевизор смотрит... И все-таки парень ничего, услужливый. «Давайте я вам помогу». А руки у самого не туда стоят. Совсем никакого дела, видать, не знают. Может, учитель, может, ученый... Чего это Полина про Колюшку стала ему рассказывать? От

язык, за чтоб ни зацепиться... Ничего ей тогда не снилось. Разве ж она пустила бы его с девками? А вот как быть несчастью в шахте, снилось ей, что Дед ее решил с ней делиться. «Я, значит, хочу жить самостоятельно». И стал вещички собирать. «Сам буду, сам...» Она сразу тогда подумала нехорошо. Так и случилось. И когда Валентина в институт не поступила, снились ей мелкие гадюки... А вот перед Колей ничего не снилось...

Парень вышел покурить на крыльцо. Он стоял на фоне ярко освещенной двери, и старуха вспомнила, как во время войны на базаре один безногий инвалид из черной бумаги вырезал за минуту или профиль, или всю фигуру. Если вырезал фигуру, просил стать от него подальше и ближе к какой-нибудь стене... Вот и парень стоит как вырезанный... А пострижен как Анна. Все-таки она у нее мужик мужиком. Курит. Стрижет затылок. Ходит зимой и летом в синем костюме. Разве ж это оправдание, что директор школы? Когда старуха была совсем девчоночка, дядя возил ее в Бахмут на ярмарку. Она тогда случайно видела, как подъехала к базару в красивом экипаже директор гимназии. Ну, как одета! И строго, и прекрасно. А голова как причесана! Волосок к волоску и стоит башней, проплыла как пава. А Анна встанет утром, глаз не умоет, прокашляет свой дымоход и пошла тянуть. По волосам проведет два раза – и вся парикмахерская... А говорят, умная. Орден ей дали. Но если и умная, то по-современному: накоплено много, а положено неизвестно где. Что толку от ее ума и знаний? Над ней вся улица смеется, когда она приезжает, прозвали Хымка-балакуча... А парень так и стоит как вырезанный.

Илья не видел старуху, не знал, что она наблюдает за ним с крылечка. Он не слышал, как выключил дед телевизор – у него специальное приспособление. Не слышал, как приехал на своей машине Герой Социалистического Труда Кузьменко, приехал и обратил внимание: у Полины горит свет на веранде и кто-то стоит на крыльце, чужой кто-то. Не слышал, как, гремя, доставал дед из-под помоста свою «утку», а Полина, слыша это в своей комнате, вздохнула: сколько ж это может продолжаться? И только когда, попив на ночь чаю, выключила у себя свет старуха, Илья вздрогнул, вздрогнул от густой, какой-то материальной темноты, возникшей перед глазами. А потом чернота стала рассасываться, и вместе с ней неожиданно уходило из Ильи оцепенение болью. «Уже очень поздно, – подумал он. – Надо

ложиться». И он, вернувшись на веранду, стал раздеваться, привычно бросая на стул вещи. Потом увидел белоснежную простынь и вспомнил, что так и не попал сегодня под душ. Прямо в трусах пошел в сад, руками нащупал шланг, вода была холодная, весь сжался и с легким вскриком стал себя поливать.

– Господи! – крикнула из окна Полина. – У нас же душ! Там же вода теплая!

– Ладно! Ничего! – захлебываясь, крикнул Илья, и сразу залаяла где-то собака, ее поддержала другая, насторожилась на всякий случай улица: крик ночью ничего хорошего никому не приносил. И где это кричали? Не у Мокеевны ли? Как это старуха не боится одна ночью? Послушали еще и успокоились. Видать, крик был случайный.

А Илье после душа полегчало.

– Возьмите полотенце, – сказала из окна Полина и выбросила ему на руки широкую махровую простынь.

Илья растерся, угрелся, так, завернувшись, и вернулся на веранду. И уже почти спокойно влез в скрипучие простыни. «Мне должно быть стыдно, – думал Илья. – Я ведь нашел мать. Если я не радуюсь, значит, я подонок? А я не подонок, но я не только не радуюсь, я прибит этим обстоятельством...»

Илья тупо смотрел на слишком черное небо, непривычное для глаз после блеклой, приглушенной темноты, что стоит всегда над верхней Волгой.

Из всех взбодренных ледяной водой мыслей устойчивой и четкой была одна. Все эти три года, роясь в картах, просматривая старые подшивки газет с объявлениями о розыске, Илья искал одного – отсутствия доказательств. Он с облегчением не нашел ничего в газетах. Он с облегчением получил ответ из Москвы, что история, подобная его, не зафиксирована: его никто не искал. И командировка сюда была последним аргументом: если здесь нет никаких следов, то и вообще ничего нет. Милая, милая мама! Видишь, я снял груз с твоей души, я действительно был ничьим мальчиком, а значит, совершенно законно твоим. И надо было тебе это выяснить самой, тогда бы у тебя меньше болело сердце и ты, наверное, до сих пор была бы рядом с нами.

Илья хотел не найти. Он мечтал прийти к Кимире и сказать: «Давайте порвем то письмо. Нет никаких доказательств».

Кимира заплачет и начнет жечь письмо в своей, похожей на пиалу, пепельнице, а громадное число окурков вывалит прямо на стол, рядом с тетрадами. И серый пепел будет мягко оседать на контрольные по математике.

«Ребята будут меня ругать за то, что старая кикимора испачкала им тетради, – скажет она весело. А потом посмотрит на Илью и добавит: – Ты не смущайся. Я ведь знаю, что они зовут меня Кимирой – это преобразованная „кикимора“.

«Что вы! – скажет Илья. – Это от вашего имени, отчества и фамилии. Как Викниксор из „Республики Шкид“.

«Что ты говоришь? – удивится Кимира и закачает своей большой седой головой. – Что ты говоришь? А я столько на них обижалась...»

Илья так часто представлял себе эту сцену, что ему казалось: она уже была. Так бывает, когда в самый страшный момент заглянешь в конец книги и увидишь, что все хорошо кончается. Все герои живы.

Но вместо этого, так хорошо продуманного конца – старая строгая старуха. Мать. И даже три сестры. Старые девы.

Вытянувшись на софе, Алена говорила:

«В наше время старых дев нет. Всякая нормальная баба решит сексуальный вопрос независимо от того, есть у нее официальный муж или нет. Кто это в наше время умирает от жажды? А отдельные девственницы – это просто гормонально недоразвитые...»

«Старые девы – это социальный тип», – доказывал Илья.

«Чушь! – отвечала Алена. – Только физиологический».

Папа стеснялся этих разговоров и уходил. А Алена кричала вслед:

«Свекор! А ваша точка зрения?»

«Это несчастье, Аленушка, – говорил папа. – Женщина без мужа – это несчастье...»

«Выдумка мужчин! – смеялась Алена. – Тоже мне! Нашли престижную ценность – мужа. – И она легонько толкала Илью длинной ногой. – Сколько вас, сушеных, на килограмм?»

А что думают его сестры? Устраиваются ли они по теории Алены или живут, несчастные, подтверждая папину точку зрения?

Зачем он приехал? Как ему теперь быть? Никогда ни о чем не должен узнать отец. Значит, уехать? Ужас сковал Илью. «Что я – все-таки подонок? И могу уехать? Зная правду, сделать вид, что я ее не знаю?» Но как же быть, как? Как сочленить этих разных, из разных

жизней – родных ему людей? Вот папа, Наташка, Алена, их город – самый красивый, самый сдержанный и самый благородный, и вот эта улица, и этот город, в котором люди переполнены постоянным несдерживаемым любопытством, где вечерами сидит, повернувшись спиной к солнцу, женщина, сжимая в руке деревянную лошадиную морду.

«Кончайте вашу прежнюю жизнь, граждане, мы теперь родственники...» Так, что ли?

Сколько раз он видел на фотографиях встречи через долгие годы. Всегда плачут. Сейчас Илье казалось, что слезы – это самое лучшее, что может быть; у них не будет слез. Вся его «объединенная» семья смотрела и вопрошала его сухими, застывшими глазами.

Так он и заснул, видя перед собой одно печальное бесслезное удивление.

А утро было радостным. Илья спал крепко и проснулся оттого, что громко стукнула калитка. Он приподнял краешек занавески и увидел, как уходили со двора с большими корзинами принаряженные Полина и Тамара. «Куда это они?» – подумал Илья; часы показывали половину шестого. Он искал в себе вчерашнюю тупую боль и не находил, не было смятения, все было спокойно и ясно. И это была хорошая ясность. «Не может такое, – так определил Илья все случившееся с ним, – принести несчастье. Все будет хорошо. Никому не станет хуже». Он встал и побежал под душ: по дороге заметил, что вчерашнее его ночное обливание нанесло некоторый урон ухоженному двору Полины; видно, что она уже пыталась навести порядок, поэтому в душе Илья вел себя пристойно, плескался осторожно и аккуратно вытер после себя пол. Надевая уже в доме чистую клетчатую рубашку с короткими рукавами, поймал на себе взгляд деда.

– Доброе утро, дедушка! – крикнул Илья. – Куда это наши женщины подались с утра пораньше?

– Солохи, – ворчливо сказал дед. – Одни лентяйки идут на базар в шесть утра.

– А когда же? – удивился Илья.

– В четыре, когда же! – ответил дед. – Когда колхозники приезжают. А в шесть все уже у спекулянтов. Они и ждут таких

ледащих... А у тебя что на спине? – спросил неожиданно дед. – Как паук сидит.

– Родинка, – сказал Илья, вспоминая весь вчерашний разговор и радуясь, что не надо выкручиваться, прятать спину: это не может принести несчастья. Он посмотрел на соседний дом, дверь открыта, занавеска, что висит от мух, заброшена на дверь. Что там за дверью? И, будто почувствовав его вопрос, из дома вышла старуха.

– Доброе утро! – крикнул ей Илья.

Она с достоинством кивнула и спустилась с крыльца, взяла веник и стала подметать возле порога.

– Давайте я! – крикнул ей Илья.

Она выпрямилась, посмотрела на него и засмеялась. Смеялась она долго, потом подтянула потуже концы платка, махнула на него рукой и снова стала мести.

– Грех с тобой, – сказала она.

– Она пятнадцать лет все сама делает, – пояснил дед. – Работящая. К ней девки как приедут, как чего напomoгают, ей потом исправлять...

– Что ж я, подмести не смогу? – обиделся Илья.

– А то можешь! – сказал дед. – Ты бородатый.

– Ну и что? – спросил Илья. – Ваши отцы все бороды носили...

– Так они ж по природе, а вы по форсу, – захихикал дед.

– Ладно, ладно, дедушка, не придирайтесь, – сказал Илья и пошел к калитке, открыл, вышел на улицу.

Парнишка в белой рубашке с закатанными рукавами катал на велосипеде девчущку.

«Как здесь все рано!» – подумал Илья. Парнишка сделал возле Ильи круг, притормозил.

– Слезай, – сказал он девчущке, – на сегодня хватит. – Он повернул к Илье глазастое смуглое лицо, улыбнулся и смущенно объяснил: – Я с третьей смены пришел. А она ждет: покатай на велосипеде. Мотоцикла боится – он газует сильно, а велик любит. Вот я ее по утрам и катаю, а если в первую иду – то вечером.

– Сестра?

– Племянница, – ответил парень и снова улыбнулся.

«Какая хорошая улыбка! – подумал Илья. – Искренняя, добрая. Совсем мальчишка, а уже в шахте».

– Вы уже в шахте работаете? – спросил Илья.

– Да, а почему уже? – также улыбаясь, спросил парень.
– Мне кажется, вам очень мало лет.
– Я пришел из армии...
– Сдаюсь! – засмеялся Илья. – Значит, я очень старый.
– Нет, вы не первый! – сказал парнишка. – Я действительно на свои годы не выгляжу. Такой уж уродился... – Он засмеялся.

Из соседнего двора вышла Мокеевна.

– Здравствуйте, бабушка! – крикнул ей паренек.
– Ленка из-за тебя недосыпает, все ждет... – ответила старуха.
– Ждет! Ладно, сегодня последний день в ночную. С понедельника буду в первую...

– Ты мне в сарае свет починишь? То ли лампочка сгорела, или что с выключателем...

– Давайте я! – кинулся к ней Илья. – Он ведь после работы. Пусть отдыхает.

– Да я могу! – сказал Славка.

– Нет, нет, зачем же? – убеждал Илья и уже направился к старухе, но остановился: она смотрела на него холодно и неприветливо.

– Я не знаю, как ты умеешь, пусть Славка.

Слава виновато посмотрел на Илью и снова улыбнулся: ты, мол, не обращай внимания, она старенькая и ко мне привыкла, ты уж ее прости... И эту улыбку поняла старуха и тоже подобрела, отогрелась, посмотрела на растерянного Илью и сказала:

– Если тебе делать нечего, приходи чуток попозже яблоки снимать. Я посылку своим девчатам в Тюмень собираю, мне яблоко хорошее надо, прямо с дерева.

– Когда прийти? – обрадовался Илья.

– Ну после завтрака! – И она ушла со Славкой, но тот успел, закрывая за собой калитку, улыбнуться Илье. «Вот видишь, она не вредная, – будто говорил он. – А яблоки собирать – это даже интересней, чем свет чинить».

Илья подумал, что когда-нибудь он попросит Славку покатать на велосипеде Наташку. Вот будет радости. А может, испугается?

К дому, покачиваясь от тяжести корзин, уже шли Полина и Тамара.

– Гость наш уже встал, – проворковала Полина. – Значит, будем завтракать.

– Добрый день, – тихо сказала Тамара. Она покраснелась от тяжести, от жары, и такая ничуть не была похожа на Жанну Самари.

– Боялась, простудитесь вы от ночного купания. – Полина внимательно посмотрела на Илью. – Обошлось?

– Спал как Бог! – сказал он. Хотел извиниться за беспорядок, но из двора Мокеевны вышел Славка.

– Все в порядке. Лампочка, – сказал он. – Я Мокеевне свет чинил, – пояснил он Полине и Тамаре.

– А! – ответила Полина. – Свет – это она не может. Ну пошли, дочка, накрывать на стол...

– Как вас зовут? – спросил Славка. – Меня Мокеевна спрашивала, а я не знаю.

– Илья, – сказал Илья.

– Да? – удивился Славка. – Старое имя. Ни одного молодого не знаю с таким именем.

– Дядя Слава! Дядя Слава! – бежала девчушка. – Бабушка тебя завтракать зовет!

– Иду! – сказал Славка. – Вы надолго к нам?

– Еще не знаю, – сказал вдруг Илья.

– Завтра воскресенье, познакомимся поближе. Идет? – спросил Славка. – Я после завтрака на боковую.

– Идет! – обрадовался Илья. – Иди ешь!

И Славка пошел, и снова Илья удивился, каким пацаном он кажется и со спины. Узкоплечий, локти острые и чуть в стороны. Прошел пять шагов, обернулся и махнул Илье рукой, будто поясняя: я от тебя ушел, но помню о тебе. Ты это знай! «Никогда у меня так сразу не возникало к человеку столько симпатии, – подумал Илья. – Обаятельный парнишка».

– Мама уже накрыла... – Это Тамара незаметно подошла к Илье.

– Какой симпатичный паренек, – сказал ей Илья.

– Славка? – Тамара равнодушно пожала плечами. – Все они до поры до времени симпатичные...

– Ну за что вы нас так? – И Илья, испытывая с самого рассвета чувство умиротворения и оптимизма, слегка тронул ее за плечо. Она повернулась к нему резко, низенькая в своих домашних тапках, широкобедрая от сарафана, красная от жары, гнева и еще каких-то Илье непонятных чувств.

– Ну, не трожь! – прошипела она. – Видали таких!

– Что вы, Тамара! – растерялся Илья.

Тамара напоследок просверлила его глазами и так же быстро, как разгневалась, затихла. Когда они усаживались за стол, напротив Ильи опять сидела безжизненная Жанна Самари. Подперев щеку ладонью, она ничего не ждала, ничему не радовалась, ничего не хотела, просто жевала картошку. Есть-то надо!

А Мокеевна уже вынесла из дома плетеную корзину. Пока Полинин гость завтракает, она решила присмотреть яблоки. Она ходила по саду с поднятой головой, минуя взглядом тяжелые, нависшие к земле ветки. Эти пусть. Девчатам надо сорвать сверху, те, что к солнцу ближе, от пыли, земли подальше. Лестница, правда, у нее неважная, хлипкая, надо будет починить, а может, этот парень ее наладит? Хотя вряд ли, он невдалый. И она сама взяла молоток, гвозди, стала крепить перекладины, а он как очумелый – ну что за чудной парень! – перемахнул через забор и отнял у удивленной Мокеевны молоток.

– Чего скачешь? Ворота есть, – сказала старуха, а Илья крутился возле лестницы, соображая, как все сделать лучше.

Мокеевна стояла рядом, подбирала в ящичке равные гвоздочки, иногда их пальцы вместе копались в этом нехитром плотницком хозяйстве, и Илья видел ее широкие крепкие кисти. Отец говорил: «А вот руки у тебя не наши. Мужички. Удивительная штука – наследственность. Где-то, значит, был в роду ген широкой кисти». И он крутил тонкими пальцами широкую ладонь Ильи, а тот, поигрывая крепкими коротковатыми пальцами, смеялся: «Хороши держалочки. Больше поместится». И Наташка родилась с широкими красноватыми ладошками. «Не барышня-крестьянка», – сказала Алена.

Потом Илья осторожно снимал с ветки яблоки, складывал их в корзину, одно к одному, и думал о том, как когда-нибудь приедет сюда с Наташкой.

– Ну, спасибо, – сказала Мокеевна. – Хватит. Возьмешь яблок? Выбирай тогда из корзины которые помягче. Все ведь все равно не отослать.

Илья грыз яблоко, присев на маленькой скамеечке возле старухи.

– Хорошо как у вас! – сказал он.

– Ты не вспомнил, где жил до войны? – спросила Мокеевна. – Я все думала, не было у нас такой фамилии.

– Мама говорила, вроде Константиновка.

«Как же дальше вести разговор?» – растерялся Илья.

– А! – удовлетворенно ответила Мокеевна. – Здесь я всех знаю... Они, родители, у тебя кто?

– Учителя, – сказал Илья.

– Кто ж у нас из Константиновки? – продолжала о своем Мокеевна. – Что-то не соображу... А! Верка. Она там медицинское училище кончала. Может, она о твоих слышала...

– Да ладно! – забеспокоился Илья.

– А мне показалось, что ты что-то узнать про родителей хочешь?

– Да... то есть почему? – удивился Илья. – Почему вы так решили?

– Мало ли что... Может, документ какой нужен. Я знаю, как начнут люди справки для пенсии собирать... а с метриками не разберутся. В старое время все начинали работать раньше, годы себе прибавляли, а теперь концы с концами не сходятся...

– Да нет, – сказал Илья. – Я не за этим... Я просто... посмотреть...

Старуха вынесла с веранды ящичек с круглыми дырками.

– Давайте я, – предложил Илья.

– Нет, нет, – запротестовала старуха. – Тут надо умеючи.

– Расскажите мне о ваших дочерях, – попросил Илья. – Все-таки я им яблочек нарвал...

– А чего о них рассказывать? – удивилась старуха. – Они у меня бобылки. Старшая – директорша в школе. А вторая на фабрике работает. В институт не поступила, заикается.

– Отчего? – спросил Илья, вдруг ощущая великую жалость к незнакомой заикающейся женщине.

– С войны. Она мальчоночку, который у меня погиб, очень любила. Все с ним возилась. Анна, старшая, больше с Ленкой, младшей, а Валя все с ним... Думала, я ее не выхожу, она так вся нервная и осталась... От этого и заикается...

«Вот как бывает, – думал Илья, – можно прожить жизнь, и так и не знать, кому ты принес больше всего несчастья». А старуха вынесла из дома фотографию.

– Как Анне уезжать, мы все снялись. В сорок девятом.

Мокеевна была на фотографии без платка, но Илья подумал, что уже тогда ей это было непривычно. Она смущалась своей непокрытой головы и смотрела на фотографа даже чуть сердито: зачем велел снять платок? Он ведь так и лежал у нее на коленях, крепко схваченный пальцами, яркий, в горошек платочек... У отца было важное лицо. Никакой фотограф его смутить не мог, он смотрел сквозь него, преисполненный торжественности момента. И девчонки. Анна посередине, гладко причесанная, строгая... В ее честь снимались, и она так же, как и отец, сознавала это. А две другие, видать, фыркали, так и застыли со спрятанным за сцепленными зубами смехом.

«А эта самая красивая», – думал Илья, глядя на ту, что была ни старшей, ни младшей.

– Она у нас самая красивая, Валентина, а вот как не повезло, – сказала Мокеевна.

Скрипнула калитка, и во двор вошла женщина в коротком ярком платье. Она шла, загадочно улыбаясь, покачивая длинными, похожими на елочные украшения, клипсами.

– Верка, – удовлетворенно сказала Мокеевна. – Кто ж еще? Ей же все надо.

– Здравствуйте, – старательно выговаривая слово так, чтоб слышалось непроезжимое «в», сказала она. – Слышу, говорят, командировочный объявился, яблоки ходит людям рвет, дай, думаю, схожу посмотрю.

Она кокетливо выставила коленку и губы сделала трубочкой: я, мол, конечно, шучу насчет яблок, а насчет того, чтоб посмотреть, так все верно...

– Кто это тебе уже наболтал? – осуждающе сказала Мокеевна.

– Большой секрет! – отмахнулась от старухи гостья и, ласково глядя на Илью, добавила: – Что ж это вы не в гостинице? Мне Нюся, администраторша, рассказывала. Пришел, говорит, поселился, а потом раз – и ушел. С Томкой. Это, говорит, интересное дело...

– Мне сказали, что соревнования будут стрелковые и освободить место надо, – спасался Илья.

– Тю! – возмутилась Вера. – Кто ж это вам сказал? Пустая гостиница стоит.

– Не знаю, – твердо ответил Илья, – не знаю. Мне Иван Петрович сказал, начальник милиции...

– Этот еще деятель! – махнула рукой Вера. – Сбрехал. Ничего нету. А чего вы у него были?

– Да тебе какое дело! – возмутилась Мокеевна. – Что к человеку пристала!

– Ой, бабушка! Не кричите! – успокаивала ее Верка. – Каждому человеку интересно все про другого. А как же? Вы ж вечерами сидите, все слушаете, все смотрите...

– Ну и что? – гордо ответила старуха. – Я ж ни к кому не пристаю с вопросами.

– А я еще не на пенсии, – не сдавалась Верка, – у меня времени, чтоб следить, мало... Я лучше спрошу, что мне интересно.

Илья засмеялся, и Верка, обрадовавшись его смеху как знаку понимания, тоже засмеялась и села на перевернутое вверх дном ведро, положила на него спрятанный за дверью веранды войлок.

– Все ты знаешь, где лежит, – проворчала Мокеевна. – В чужом – как в своем...

– Да бросьте, бабушка! Я ж вам сама и присоветовала, чтоб вы на цементе или железе не сидели, а подкладывали что...

– Без тебя я не знала, – сказала старуха.

– А что ж вы, думаете, все знаете? – Верка повернулась к Илье. – Я тут сестрой медицинской работаю, в хирургии. Так невозможно стало работать, есть больные такие грамотные – и что прописать, и как лечить...

– Информированный народ, – сказал Илья.

– Что? – испугалась Верка, но тут же поняла и засмеялась: – Я сразу не расслышала. Так вы сюда на фенольный?

– Да! – покачал головой Илья. – Действительно, все всё знают. На фенольный...

– А в милиции чего были? – Верка смотрела на Илью блестящими пронзительными глазами. – Мне Зойка, секретарша у Ивана Петровича, рассказывала, вы у него больше часу сидели...

Илья растерялся. В двух шагах от них аккуратно складывала яблоки в ящик Мокеевна. Что сейчас еще скажет эта любопытная, всезнающая Верка? А если и про разговор с матерью Ивана она знает,

и о справке, которую он ему приносил? И ляпнет она сейчас все со всей своей милой нахальной непосредственностью.

– Какая вы, девушка! – переводил разговор в шутку Илья. – А вдруг это государственная тайна?

– Тогда это особенно интересно, – откровенно призналась Верка.

Старуха засмеялась, а она, махнув на Мокеевну рукой, что, мол, она понимает, умоляюще спросила Илью:

– Вы про фенольный говорите для виду, да? У вас дела с милицией?

– Да! – насмешливо сказал ей Илья. – Я майор Пронин.

– Ну и не надо! – Верка встала, будто потеряв к Илье всякий интерес. – Чего они, милиционеры, так любят туману напускать? Понятия не имею! Приди и спроси у людей. Прямо и откровенно. Так нет же...

– Не твоего ума дело! – сказала Мокеевна. – Ты лучше чиряки перевязывай.

– Да уж перевязываю! Не беспокойтесь! – Потом снова повернулась к Илье, погрызла нижнюю губу и спросила: – Вы не насчет порезанного в общежитии? Так там уже все ясно!

– Да не из милиции я! Честное слово. – Илья для убедительности даже руку к сердцу приложил.

– Не верю, – сказала Верка. – Это вы вчера ночью собак побудили? Слыхала бабушка, кто-то крикнул и как забрехали наши песики?

– Ну и что? – сказала старуха. – Он мыться ночью ходил, а собаки – дуры...

– Верно. Я под шланг стал, а вода ледяная...

– А чего вы про пропавших детей спрашивали? – вдруг спросила Верка. – Слава Богу, у нас за детьми следят. И не слышала такого.

– Да нет! Это к слову пришлось. – Илья готов был дать Верке по шее.

А тут Мокеевна взяла крышку от ящика и мелкие гвоздочки. Самое время помочь ей, но стоит рядом эта проклятая любопытная.

– Что у вас в кино идет, Вера? – спросил Илья.

Заискрилась елочными клипсами Верка, вытянула губы трубочкой. Уже не дотошный следователь, а просто женщина, которую наконец заметили и за которой пошли по следу.

– Кино? «Джентльмены удачи». Что, приглашаете?

Меньше всего думал об этом Илья, но тут обрадовался: какой-никакой, а выход из положения.

– Почту за честь, – сказал он. И подумал: «Вот и пригодилось снятое кольцо».

– И Томку возьмите! – сказала старуха. Высоко вверх вскинула брови Верка – при чем тут Томка? – а Илья бросил на Мокеевну благодарный взгляд.

– Обязательно. Когда у вас надо идти за билетами?

– Касса с двух.

– Ну и отлично. А где кинотеатр – я видел. Так что все будет в порядке. – Илья подошел к заборчику, покричал Тамару.

Она вышла босиком на крыльцо, одним взглядом увидела все – заколачивающую ящик Мокеевну, Илью, уцепившегося за тонкие доски штакетника, и эту баламутку Верку. «Что это она еще сообразила?» – подумала Тамара.

– В кино пойдете на «Джентльменов»? – спросил Илья, и Тамара усмехнулась. Понятно, Верка пристала к мужику, не спасешься, а он ее тянет в кино, чтоб она поработала амортизатором.

– Занята я, – ответила она насмешливо и громко. – Идите уж сами. – И ушла в дом. Этого еще ей не хватало – хвостом телепаться, кого-то от греха выручать. Уж лучше одной, чем третьей... А Верка обрадовалась – ей эта Тамара как рыбе зонтик.

– Я возьму билеты, – без энтузиазма сказал Илья.

А Верка враз забыла про все мучившие ее вопросы, сделала Илье ручкой – «до вечера» – и ушла. Мокеевна покачала головой, осуждающе посмотрела на Илью.

– У тебя характера нет? Для мужчины это последнее дело, если его любая баба уведет куда захочет. Деда моего после войны одна увезла в Москву. Все мужики домой, а моего – нету. По Москве в шляпе ходит. Вернулся аж в сорок седьмом. Такой виноватый, прямо стелется... Я ему так и сказала: тебе с женщинами вообще встречаться нельзя, ты ни одной отказать не можешь. Стесняешься... Ты тоже такой?...

– Да нет, я не такой, – растерялся Илья. – Я вполне могу послать подальше...

– Не можешь, – убежденно сказала старуха. – Это твоей жене надо знать. Мало ли что...

Илья взял со стола фотографию, которую разглядывал до прихода Верки. Только смотрел уже не на давящуюся от смеха Валентину, а на важного деда Сычева, оказывается, совсем слабого человека.

– Что ж, он сына любил? – тихо спросил Илья.

– А то! – ответила Мокеевна. – Все девки, девки. Как парень родился, на руках мой по двору пошел... Я думаю, что когда он в Москву поехал, так частью оттого, что мальчишки уже не было... Будь парнишка живой, он бы, может, и не подался... У человека против собственной слабости тоже ведь есть сопротивление... У кого какое...

– А может, не погиб все-таки мальчишка? – тихо спросил Илья. – Может, его кто-то подобрал?

Покачала головой Мокеевна.

– Вы ведь не разыскивали? Можно было обратиться в газету, на радио...

– Это когда в дороге теряли или когда немцы разлучали, а тут ведь... недогляд... Да и никуда бы он не делся, если б живой был... Волков у нас нет... А вот шурфы, будь они прокляты, до сих пор...

– А может, кто ехал мимо, видит – ребенок...

– И увез? – недоверчиво спросила старуха. – Я про все думала. И про это тоже. Даже так прикидывала: а вдруг где живой? Не получается. Если хорошие люди, к примеру, взяли – объявились бы уже. Горе бы поняли... А плохие не подобрали бы, трудное время было. Напиши, – сказала Мокеевна, – адрес.

Илья писал, а Мокеевна старательно следила за его рукой.

– Некрасиво пишешь, – сказала она. – Что это нынче в школах писать не учат?

– А незачем, – ответил Илья. – Почерк раньше был нужен, когда человек им зарабатывал... А сейчас зачем?

– Глупости, – сказала Мокеевна. – Раньше на это обращали внимание, а сейчас нет. Сейчас на многое нужное рукой махнули.

– На что, например? – спросил Илья.

– Никто ее не звал, а она явилась, Верка. Так теперь все делают. Что кому охота. Без понятия – может, это другому неприятно. Куда не надо – прутся. Кого не спрашивают – высказывается.

– А мне Славка понравился, – вдруг сказал Илья.

– Ничего парнишка, – ответила Мокеевна. – Без «здрасьте» не пройдет. Ну, спасибо. – Мокеевна взяла ящик, повертела в руках. – Сколько ж тут кило?

Больше было оставаться как-то неудобно, тем более после слов Мокеевны о нахальниках, которые прутся, лезут куда не надо. И уходить не хотелось. Только-только начал развязываться разговор... Не знал Илья, куда он придет с этим разговором, не было у него никакой дальнейшей задумки, просто нравилось сидеть в тенечке, нюхать яблоки и рассуждать с Мокеевной. Где-то в глубине лениво зашевелилось, что он сам вяжет узлы – а нужно ли? Но мысль так и ушла, не принятая, не осужденная, а желание сидеть осталось, хоть понимал Илья: надо это как-то строгой Мокеевне объяснить.

– Хорошо как у вас! – сказал он. И тут же стал ей рассказывать, как они выводят гулять Наташку с четвертого этажа, какая она счастливая, когда возится в земле, в песке. Каждый год собираются отвезти ее куда-нибудь в деревню, но все не получается. Мокеевна ему посочувствовала, но Илья вдруг понял: ей этот разговор неинтересен. Ничего она не сказала, ничем не выразила неудовольствия, а пришло вдруг откуда-то понимание, даже нет, не оно, а что-то другое – не о том он говорит. Мокеевна двигалась по двору, войлок спрятала за дверью, унесла ведро, на котором сидела Верка, вынесла в мисочке молодую картошку, села на табуретку и перочинным ножиком стала нежно соскабливать тонкую, ломкую кожуру. И Илья вдруг понял, что вчерашняя боль была более правильной, чем сегодняшнее утреннее умиротворение. Чего он ввалился, чего он хочет, по какому праву собирается внести смятение? Разве его просят? Разве его искали? Разве это нужно кому?

– Детей растить трудно, – вдруг сказала Мокеевна. – Болезни – это еще ерунда. Ты думаешь, если оно твое дите, ты все про него знаешь и знаешь, как ему лучше, а получается – вредишь.

Илья почувствовал себя как человек, который спокойно стоит на платформе и не подозревает, что она сейчас поедет. И вдруг рывок, и все зависит от тебя – удержишься, нет. Сколько они разговаривают со старухой, она каждый раз выдергивает у него почву из-под ног. И ведь не специально – говорит о чем-то о своем, что же его так качает? Хочешь лучше, а вредишь... Дома никогда эти мысли не приходили ему в голову. Даже в пору самых острых конфликтов, разве их мало

было, мамина и папина позиция никогда не рассматривалась как враждебная. Непонимание если было, то было непониманием левой и правой сторон, но сторон одного, единого явления! А тут он вдруг постигает враждебность, вредность, беду, которую несет один другому, и несет-то из желания сделать лучше. Чепуха ведь, если проанализировать! А старуха почистила картошку, моет ее в широкой низкой кастрюле, моет тщательно, протирая рукой каждую картофелину.

– Не надо было Валентину отправлять из дома. Раз такая беда – жила бы с нами. Работала бы здесь, хоть в швейной мастерской. Она и хотела. А мы с отцом вбили в голову, что ей отсюда надо уехать. Прямо силком к Анне вытолкали. Ну и что? – И она ушла в летнюю кухню.

И понял Илья, что была какая-то невидимая пока ему связь между разговором о Наташке и этим признанием Мокеевны. Она выглянула из кухни, убедилась, что Илья сидит по-прежнему, поворошила в печке и, вернувшись, сказала:

– Ты иди, что ты со старухой время тратишь? За яблоки спасибо. Будешь уезжать, я тебе нарву. Для твоей дочки. А пока иди, а то у Полины уже глаза чуть не лопаются. Она на мой двор уже два часа глядит.

Илья встал, направился было к заборчику, но Мокеевна запротестовала:

– Выходи, как люди. Через забор только собаки прыгают.

* * *

Над короткой улицей солнце поднялось довольно высоко, в рабочем общежитии кто-то надсадно играл на трубе. Илья отчетливо представил удивленную вспотевшую физиономию с мокрыми губами. Сидит парнишка и дует с тоской и интересом одновременно. Тоска от беспомощности, а интерес? У трубача неожиданно получились сразу три такта. Даже можно было угадать: он вымучивал песню про снег, и ветер, и чей-то там полет. И хоть после третьего такта все равно ни в чем нельзя было разобраться, Илья вздохнул с облегчением за упорного трудягу.

– Природу побеждает, – услышал Илья. Облокотившись на обвитые виноградом ворота, стоял мужчина в белой шелковой майке. – С самого утра он трубу укрощает, а у самого ни слуха, ни уха. Один характер.

– Молодец, – сказал Илья. – Если бы каждый так...

– Не дай Бог! – Из-за спины мужчины появилась женщина с высоко подколотыми волосами. – Я б ему морду этой трубой набила. Безобразие какое! Как выходной, так никакого покою...

– Да брось, Тоня, – добродушно сказал мужчина. – Один пьет, другой на трубе играет.

– Ну конечно, – возмутилась женщина, – больше ж у вас дел нет!

– Нету! – вздохнул мужчина и подмигнул Илье.

– А я дойду до их коменданта, – сказала та, которую называли Тоней. – Пусть его пропесочит.

А труба карабкалась на какую-то неизвестную ей высоту, она уже хрипела и взвизгивала от усталости, и из этой тяжелейшей муки снова чудом вырвались два или три чистых, освобожденных от труда и пота такта – трубач постигал на этот раз «Славянский танец» Дворжака. «Интересно, – подумал Илья, – это у него случайно выходит или он знает, чего хочет?»

– Яблоки Мокеевне рвать помогали? – спросил мужчина. – Отменный сад. Такого у нас больше нету.

– Да, хороший, – сказал Илья.

Женщина открыла калитку, вышла. Откровенно разглядывала Илью, чуть наклонив большую голову, потом, ничего не сказав, крикнула через улицу:

– Полина! А Полина! Цыплята сегодня на базаре почему?

И тут же у своей калитки выросла Полина, будто ждала, что позовут.

– Я к живой птице не подходила, Тоня. Но видела: привоз большой. Мне не надо. Десяток есть, и хватит.

Илья увидел, как к воротам повыходили женщины. Короткая улица – хорошо видно. Повернули головы, слушают про цыплячий привоз, а глядят на Илью. И только Мокеевна не вышла из своего двора; видел Илья краем глаза: ходит из кухни в дом, носит какие-то тряпки, а на улицу и не смотрит. А зря, потому что повернула Полина к Илье обиженное лицо и весьма ядовито спросила:

– В кино, я слышала, идете? А чего не сходить? Дело молодое, а Вера у нас женщина веселая, разведенная...

– Поля! Остановись! – прикрикнул мужчина в майке.

– А что я сказала? – вроде обиделась Полина. – Ничего особенного.

– Правду, – внимательно глядя на Илью, поддержала Тоня. – Чистую правду.

– Тамара вот идти отказалась, – объяснял Полине Илья. – Говорит, занята. А жаль...

– А у нас втроем в кино не ходят, – ехидно ответила Полина. – Что ж это за интерес – втроем?

– Культпоход, – засмеялся мужчина. – Мероприятие.

– Вот так это у вас и называется, – оскорбилась Антонина.

– А у вас? – переспросил мужчина. – Не бабы – змеюки, прости мою душу грешную. Вы на них не обращайте внимания.

– Да я ничего. Не обижаюсь, – сказал Илья. – Я ж понимаю шутки.

– Какие уж там шутки! – Это проворчала Полина, пропуская Илью во двор.

Он шел и думал, что надо еще будет сходить к Мокеевне. Только как-то с поводом, а не с бухты-баракты...

С высокого помоста смотрел на Илью дед. Фанерка, на которой дед обедал, лежала рядышком, руки деда спокойно лежали на одеяле, немощные, слабые и говорящие. Такие же руки были и у бабушки перед смертью. Начнет, бывало, говорить, а сил нет. Зашевелит, зашевелит пальцами и доскажет, что хотела. А иногда и ничего не говорит, а мама посмотрит на бабушкины руки и бежит задергивать штору, поднимать подушку, а то подойдет к Илье и тихо: «По-моему, она тебя хочет видеть. Зайди будто невзначай...»

Стало жалко деда. По его рукам не читали. Лежал он чистенький, ухоженный, накормленный, постылый, надоевший, ненужный. Пришла странная, не принимаемая раньше мысль, что в скоропостижном уходе есть какая-то своя мудрость... Но он прогнал эти похоронные мысли, решил, что надо идти за билетами, сводить Веру в клуб. В конце концов, это даже хорошо. Весь день у Мокеевны не просидишь, а Полина с Тамарой обиделись. Вот он и посмотрит в кино комедию. Может, повезет – и смешную.

Илья засмеялся. Он вспомнил горячую Веркину руку, перламутровые губы, блестящие в темноте, и полный иронии вывод: «Наши мальчишки получше, Илюша, похрабрее». Он тогда стал ей что-то молотить про разное – не время и не место. «Ах! Ах!» – сказала она и, крутнув юбкой, ушла. А он ее вернул и стал целовать прямо у калитки, удивленную и обрадованную. Да! Этого Алене не скажешь, а может, сказать? Она ведь такая современная, такая вся ультра... От Веры пахло бинтами, йодом, камфарой. Она пыталась перебить все эти запахи «Красным маком». Когда шли в кино, он ей насмешливо сказал: «У, Вера, как от вас сладко пахнет!» «Красный мак»! – сказала она с достоинством. – Стойкие духи, а все остальные как вода. Льешь, льешь...»

Тогда, у Веркиной калитки, пришла показавшаяся и дикой и забавной мысль, что могло так случиться – и Вера была бы его женой. И ничего не возмутилось в Илье, ничего не запротестовало. Он гладил широкое Верино плечо, сдавленное бретелькой, а в другой жизни, вытянув ноги, сидела тонкая длинная женщина, не признающая крючков, резинок, поясов, молний...

Спала Короткая улица, а может, прикидывалась спящей, но Илье было все равно... Эта улица уже ничем не могла его удивить, ему казалось, что, обнимая Верку, он стал здесь свой.

– Придешь завтра днем. Мать с Витькой в Константиновку уедут к тетке. Часиков в одиннадцать, – шептала ему Вера.

Потом Илья тихо вошел на веранду. Все было приготовлено, белели простыни, окошко было открыто, и из двора Мокеевны угрожающепряно пахло фиалками. Он вспомнил, как сидела она вечером на своем обычном месте, а они прошли с Верой мимо. Вся улица тогда выстрелила ему в спину – осудила. Мокеевна сказала: «С Богом! Идите, идите... Что ж, теперь людям в кино не ходить?»

А ведь он думал: уж кто-кто, а она что-нибудь вслед обязательно скажет. Говорила же, что у него характера нет, что его любая увести может... А тут не сказала. Илья подумал, что она давно понимала бесполезность переделывания мира. Она принимала его таким, каков он есть... И вспомнил маму.

Она была убеждена: если явление или человек еще слегка несовершенно, то все потому, что в самом начале была нарушена

строгая система уложения в основание краеугольных камней. Если все положено правильно, все не может не быть прекрасным. Но мама любила как шить, так и пороть. Столкнувшись с чем-то вполне достойным, она бесстрашно вооружалась скальпелем, чтоб вскрыть и посмотреть, а что внутри? На каком тесте замешено это достойное? Как важно ей было покопаться при первом же знакомстве в Алёне! Но та, увидав вооруженную скальпелем маму, так забаррикадировалась, что даже Илья ее не сразу нашел.

– Пойми, – говорила Алёна, – мне одинаково противно мое отрицание, как и ее утверждение. Я не люблю крайностей. Мир не острый. Он, увы, обтекаемый. Он как кольцо Мёбиуса – где верх, где низ, не всегда ясно. И почему я должна подкладывать под каждое свое заявление, каждый поступок справку о благонадежности и идейности? Никогда я этого не делала и не буду делать.

– Илюшенька, – говорила мама. – Она славная, оригинальная, твоя Алёнушка. Но есть вещи незыблемые. Принципы – не прическа. Их нельзя красить, укорачивать, завивать... Тем более стричь наголо.

Илья тогда думал: а какой он сам? Он восхищался умением отца понимать людей. «Ты толстовец», – говорила ему мама. Но папа был как гранит, если он почему-то начинал не уважать человека. Тут даже мама ничего не могла сделать. Илье это нравилось. Но он ловил себя на мысли, что наивная сокрушающая принципиальность мамы ему нравится тоже. И насквозь посеченные, протравленные всей житейской химией убеждения Алёны ему вполне симпатичны. «Ты беспринципный», – говорила ему мама. «Я, мамочка, широкий, – успокаивал ее Илья. – Как двусторонняя дорога».

«И она тоже широкая», – думал о Мокеевне Илья. Они шли вчера с Верой по улице, а она смотрела им вслед. Не осуждая и приняв.

Илья встал. Тихонько вышел в сад. Возле яблони во дворе Мокеевны так же стояла лесенка. «Надо будет ее сегодня перенести куда-нибудь», – подумал Илья. Рыжая курица, растопырив перья, отважно пробивалась сквозь заборчик. Ей это уже почти удалось, она с недовольным кудахтаньем соскочила, когда подошел с ветками Илья. «Тут надо все делать капитально, – думал он, заталкивая хрусткие прутья между штакетником. – Надо будет приехать сюда в отпуск и все поправить». Мысль о том, что он будет теперь сюда приезжать, пришла естественно и спокойно. Еще он подумал о том, что поедет в Тюмень.

Туда тоже бывают командировки в связи с нефтью. Вот и съездит. Он прошел вдоль всего забора, поправил, повернул ветхие дощечки, в самом конце придвинул к забору с Полининой стороны большой камень. Лежал камень просто так, а сейчас какая-никакая опора, видно, у женщин не было сил его сдвинуть. Илья радовался, что сумел что-то сделать. Он поставил ногу на обкатанный временем голыш – как тут был! – и вдруг услышал крик. Илья принадлежал уже к другому, не привыкшему к крикам в ночи поколению. Крик для него – это голос мамы из окошка, это ауканье в лесу, это пацанячий сигнал сбегаться или разбежаться. То, что Илья сейчас услышал, было ни на что не похоже. И наверное, поэтому сразу подумалось: не война ли? Так бы, наверно, закричала, если б началась война, Алена. И Верка закричала бы так же. А больше ничего не пришло в голову, и Илья побежал из сада, слыша, как подымалась на крик улица. Стучали ставни, хлопали двери. У ворот уже стояли в халатиках Полина и Тамара. А крик все висел в воздухе, безнадежный и одинокий. И оттого что он был одинокий, пришло убеждение: все-таки не война.

– Павленчиха кричит, – сказала Полина. – Ее голос.

А Тамара, прихватив рукой полы ночного халатика, побежала. И будто этого ждали женщины, как побежит заспанная простоволосая Томка, выскочили из дворов – кто в чем – и тоже побежали. И уже через минуту возле дома, где жил Славка, стояла толпа. И снова кто-то кричал, но кричал по-другому – жалобно, на люди, а может, это Илье слышалось иначе?

– Видать, что-то со Славкой, – сказала Полина.

– Почему? – удивился Илья.

– Он же в ночную. А Миронович дома... В шахте что-нибудь? – крикнула она женщинам.

Из толпы махнула на нее рукой Тамара: не кричи, мол, но Полина вздохнула и убежденно сказала:

– Конечно, в шахте... Воскресенье...

Илья проснулся рано. Скосил глаз на стул, где лежали часы: полшестого. В это время он просыпался, когда Наташка была совсем маленькая. Тогда они с Аленой ночь делили пополам. До четырех вскакивала к дочке мама, а после – он. А в полшестого он вытаскивал ее из кровати, и она освобожденно гукала на их диване, попиная ножками Алену, которая, блаженно уткнувшись в стенку, «кусочек

досыпала». Захотелось их увидеть. Алена прищурит левый глаз и спросит: «Ну?» Он скажет: «Нормально!» А папа попросит: «Я тупой. Мне пообстоятельней». И будет слушать, каждый раз уточняя, как стоит завод, в низине или на холме, и как с отходами. Есть ли чем дышать людям? А какой в народе настрой? Что говорят? Он, к примеру, скажет: «Рабочих не хватает. Низкие заработки». И папа возмутится. И будет выяснять, почему же «у них, головотяпов» низкие, если на других химических предприятиях высокие? Не заходил ли Илья, случайно, в горком? Какое впечатление на него произвел секретарь? Не чиновник ли? В каждой командировке он набирал разных сведений специально для отца. Алену это веселило. «Невероятно! – говорила она. – Вы когда-нибудь собираетесь туда ехать? Так, пардон, на фига вам чужие мистрали? Пусть себе дуют». «Ну что ты, Аленушка, – говорил папа. – Мы становимся все менее и менее наблюдательными, любознательными. Это плохо. Это обедняет... Вспомните Чехова с его поездкой на Сахалин...»

Илья представил, как будет рассказывать об этой командировке, о Тамарином прадеде, который смотрит все телевизионные передачи, о круглолицем Иване Петровиче, о Вере. «Вот о ней поподробней, – скажет неожиданно Алена. – Она меня слегка заинтересовала».

– Почему? – опять не понял Илья.

Но Полина не была разговорчивой, посмотрела на него, пожала плечами, всем своим видом говоря: ну если ты этого не понимаешь, что тебе вообще объяснить можно? Тамара вернулась с Веркой. Обе плакали, и, еще подходя к дому, Верка прокричала:

– Славку присыпало!

Томка качала головой, громко шмыгала носом, она была вся расплющена непритворным горем, нескладная широкая Томка, похожая в печали сама на себя.

– Бедный! – рыдала она. – Бедный!

И тут до Ильи дошло. Не то чтоб он толстокожий, но с ним уже так было. Когда умерла мама, он не мог сразу понять, что это конец. Может, оттого, что и тогда, и сейчас все было неожиданным и казалось обратимым? Ну, инсульт – вылечат, ну, присыпало – откачают. Как же жить, если знать, что между быть и не быть такая тоненькая, враз разрушаемая стена? Но тут Томка говорила «бедный», и это почему-то не оставляло надежды. Вчера вечером Славка катал племянницу на

велосипеде. Два раза видел его Илья. Утром и вечером. И оба раза на колесах. Второй раз он был выспавшийся, отдохнувший и от этого еще больше мальчишка. Собирался сегодня в кино.

– Я, правда, не очень люблю комедии, – сказал он. – Мне артистов жалко, которые дураков изображают. То его, бедного, бьют, то на него льют... Ей-богу, и жалко, и противно...

А Верка тогда сказала, что им за это платят хорошие деньги, можно и потерпеть. Славка засмеялся:

– Оно конечно, за длинный рубль и нырнуть в дерьмо можно. Теперь бани всюду...

– Нырнул бы? – спросил Илья.

– А ты? – съехидничал Славка. – Мне это тоже интересно.

– Да ну вас! – возмутилась Верка. – Будь они прокляты, эти деньги!

– Откажись, Вера, от зарплаты, – смеялся Славка. – Зачем она тебе? Отдай мне!

– Веселый парень, – сказал потом Илья Верке.

– У мужчины главное серьезность, а не веселость, – ответила Верка. – А шутковать теперь все мастера.

Сейчас она была похожа на Томку. Такая же зареванная и расплющенная, ничего от вчерашней бой-бабы, которая должна была ждать его в одиннадцать.

– В кино сегодня собирался, – сказала она. – Артистов, дурачок, жалел, а себя не пожалел...

– А Павленчиче кто сказал? – спросила Полина.

– С шахты пришли. Он уже в больнице был. Там и умер. Забирать сейчас поедут.

– Одного убило? – расспрашивала Полина.

– Да хоть тут слава Богу. Одного.

– А судить есть кого?

– Славку этим вернешь? – Верка махнула рукой. – Потаскают начальника участка. Может, и главного...

– Бедный Славка! – снова запричитала Томка. – Бедный Славка!

Илья посмотрел на двор Мокеевны. Он знал: старуха не спала. Еще тогда, в полшестого, когда он так нечаянно проснулся, видел: ситцевая занавеска от мух заброшена на дверь. Значит, выходила Мокеевна, выпускала из дома ночь. А сейчас не видно. Илья подумал:

старый человек, надо суметь сообщить о беде осторожно. Крик-то она наверняка слыхала. И он пошел в сад, шел вдоль забора медленно, чтоб первому увидеть старуху. Она в самом конце двора тяпала огород. Видно, только пришла, потому что с удивлением смотрела на выпрямленный заборчик, на камень с Полининой стороны.

– Доброе утро, – сказал Илья. – Слышали, какое несчастье?

– Царство ему небесное, – ответила Мокеевна.

– Вы знаете? – удивился Илья. Ведь она не бежала на крик. Во дворе ее не было. Откуда же она знает?

– Я еще в пять жужелицу выносила, а со Славкиной смены люди пришли. А чего со смены приходят ни свет ни заря? Крутились возле дома Павленков, идти боялись.

Старуха говорила спокойно и тяпала спокойно, казалось, если ее сейчас что и занимает больше всего – так камень. Хорошо он забор припер.

– Ты? – спросила она.

– Что? – не понял Илья.

– Камень подвинул? Я говорила Полине, а он, черт, тяжелый, она на меня обиделась. Что, говорит, не знаешь, что у меня опущение матки? И Томку, говорит, не вздумай просить, ей этого еще не хватало... А ему как раз тут место... Ты это правильно сообразил. Не то что вчера со шлангом. – И старуха засмеялась тихим, каким-то мелким смехом.

Илья растерялся. Значит, уже тогда, когда улица бежала на крик, она знала? Поняла, догадалась? Потом взяла тяпку... Илья вдруг представил себе всю недопустимую, на его взгляд, последовательность этих движений, поступков... Она знает. Она слышит крик. Видит, как бегут растрепанные Полина и Тамара, как бежит к калитке он. Потом берет тяпку... Ту, что стояла возле летней кухни. И уходит в сад, где лежит камень. Вот ведь молодец, думает она, подвинул, а то у Полины опущение матки...

Подумалось: его мать так поступать не могла. Значит, все неправда, все случайное совпадение, в котором, как и в сиюминутной работе Мокеевны, не было, не могло быть смысла. Он вспомнил маму и отца с их постоянной готовностью прийти кому-то на выручку. Что там крик? Усталый голос по телефону, кто-то прошел рассеянный, Кимира одела наизнанку чулки – и мама бежит.

«Это невероятно, – говорила Алена. – Как они узнали? Можешь быть уверен, я перед дверью сделала лицо какое надо. Я терпеть не могу рассказывать о своих неприятностях. Каждый умирает в одиночку... А твои потянули, как собаки, носом – и все унюхали».

«Не делай впредь лицо! – смеялся Илья. – Тоже мне Станиславский!»

Но Алена могла быть злой. Тогда она не признавала за ними даже права на сочувствие, сопереживание.

«Вот тут ты их не переучишь, девушка, – говорил Илья. – Они все равно будут. Хочешь, я на тебя не буду обращать внимания? Наплюю. Мне это запросто».

Но так он только говорил. Куда уж денешься, если вырастаешь в обстановке этого постоянного бега кому-то на выручку? Мама так и говорила: «Сынок, хороший человек не ждет, когда его позовут на помощь. Если он хороший – он уже рядом, пока ты только что-то там соображаешь».

Его воспитывали в этом «не жди, пока позовут». И Алену воспитывали тоже. «Граждане! Я сложившаяся черствая личность! – кричала она. – Махните на меня рукой». Все смеялись. А потом Илья и не заметил, как стала вытягиваться в струнку его длинноногая супруга: типичная стойка перед «бежать-спасать».

Он видел, как всколыхнулась утром улица. Цветные халатики женщин как сигналы тревоги. И похожие в горе, забывшие вчерашние обиды Тамара и Вера. И Полина с великим осуждением в глазах: а вы, извиняюсь, не понимаете? И крик, второй крик, уже облегченный от разделенности горя.

А эта спокойно себе тюкала в огороде.

«Ну и что? – подумал Илья. – Она по-своему горюет, по-своему радуется... А если и не горюет, то мне ли ее осуждать? Что я о ней знаю?» Мысли принесли удовлетворение. Они казались объективными и справедливыми. Он наклонился и стал вырывать сорную траву с Полининой стороны, а старуха удивленно покачала головой: ну и суетной парень!

– А Славку жалко, – сказал Илья. – Это все-таки дикая нелепица...

– На всех слез не хватит, – сказала Мокеевна, поднимая от тяпки голову. – А тебе он чужой... Ты его, считай, не видел. – И она, собрав в руки светло-зеленую траву-повитель, понесла ее выбрасывать.

«Своего жалеть, родного, – говорила мама, – не велика заслуга. Тут и сердца не надо, тут одного инстинкта хватит. А ты научись жалеть других...»

«Чепуха! – кричала Алена. – Пусть сначала научится любить. Жалость хороша только производная от любви, а не сама по себе, от ума. Такая оскорбительна».

«Никакая жалость не оскорбительна, женщина! И умоляю, пожалейте меня, не спорьте!»

Илья обнимал их обеих. Мама говорила:

«Илюшка! Ты несчастный миротворец».

А Илья целовал ее в ухо и шептал:

«Счастливый, счастливый...»

Мокеевна не возвращалась, и в хорошие, спокойные мысли начинало врываться совсем другое. Удобно ли, что он вообще сегодня здесь? Надо как-то так сделать, чтоб он не мозолил глаза. Вот придет сейчас Мокеевна, он предложит себя в помощники, повозится во дворе, поразговаривает с ней. Но она все не шла. Он присел на камень, стал ждать. Было тихо, и он почему-то вспомнил вчерашнего трубача. Как он догадался, что это он, когда увидел в оркестре парнишку с вдохновенно-перепуганным лицом? Оркестр был шахтной самодеятельностью, по субботам и воскресеньям он играл перед кино. Вера их всех знала, она подвела Илью совсем близко к возвышению и громко прокомментировала: «Хороший оркестр – громкий. Далеко слышно». Илья думал, что музыканты обидятся, но они посмотрели на Верку с согласием. «А вот он, – сказала весело Верка, показывая пальцем на парнишку, – из нашего общежития. Его раз из окна хлопцы выкинули, хорошо что невысоко. Дудел, а люди после смены. А он падал, а трубу вверх держал, чтоб не сломать...» Почему он о нем вспомнил? А, вот почему... Это папа всегда говорил:

«Падая – сохраняйся».

«Не падай». – Это чеканила мама.

«Так в жизни не бывает», – повторял папа.

«Обстреливайте его, обстреливайте, – смеялась Алена. – Ах ты мой бедненький, весь насквозь продырявленный воспитанием».

Потом, когда родилась Натуля, Алена сказала:

«А вот из нее я мишень делать не дам. Мне надоели эти пушки, заряженные благими идеями последних трехсот лет... Скажи своим...»

«А что такое, по-твоему, воспитание?»

«Научить любить и ненавидеть. Все!»

... Вернулась Мокеевна, увидела сидящего на камне Илью, удивилась:

– Все сидишь?

– Дайте мне какое-нибудь во дворе дело, – предложил Илья. – Охота повозиться...

– Нет у меня дел для баловства, – сказала Мокеевна. – И все по мне ладно... Ты иди, там тебя уж Полина искала... – И добавила: – Дворы у нас одинаковые, поищи в своем работы. А я чужих во дворе не люблю. Не обижайся. Я уж так привыкла... – И она ушла.

Пошел и Илья. «Я кретин, – думал он, – я прыгаю через тридцать лет, как через забор». И тут, освобожденная от всяких мелочей и частных дел, пришла мысль, что ему хочется уехать. Вот она сказала: чужой. Но ведь действительно чужой. Он что-то вымеривал, вычерчивал, он приволок на помощь и папу, и маму, и Алену, он демонстрировал сам перед собой широту «двусторонней дороги», а она сказала: чужой. Вот и все. Очень просто. Для драматического финала есть возможность стянуть рубаху и повернуться к белому свету спиной – смотрите, я меченый. Но ведь это для слабовольных. А на самом деле слава Богу, что так все кончилось. В сущности, он рад, он сам так хотел...

Полина и Тамара были в темных закрытых платьях.

– Садитесь, поешьте, – сказала Полина. – Горе-то какое.

– Жизнью не дорожат теперь, – услышал Илья тихий голос деда. – Никто теперь ничего не боится. А в забое нужна осторожность...

– И то верно, – согласилась Полина. – Каски не надевают, на ходу из клетки прыгают. Это дед верно говорит... Но оно еще и судьба. Какой и прыгает, и на мотоцикле как сумасшедший носится, а живой...

– Конечно, судьба... Чего ж ты удивляешься? – Дед посмотрел на Илью, предлагая ему согласиться. – У каждого своя...

– Ну тебя, дед, – сказала Полина. – Не гаркай. Никто не знает, что есть, а чего нет...

– Да ладно, мама, – тихо перебила ее Тамара.

И они замолчали. Кто-то прошел по улице в черном. Напротив, во дворе Кузьменко, ходила Антонина, подвязав волосы черной

косынкой... Недалеко, подумал Илья, прятали на улице черный цвет – достали его враз. А две черные фигуры стучали в окошко Мокеевне.

– Тут как тут, – сказала Тамара. – Я, мам, тетку Шурку и Боровчиху боюсь.

– Ну и зря, дочка. – Полина вышла на крыльцо. Интересно, зачем пришли к Мокеевне обмывальщицы, – определенно что-то просить. – Таковую работу тоже кому-то надо делать. Я вот не умею. Ты боишься. А от этого никуда не уйдешь, все к этому приходят.

Илья тоже вышел на крыльцо, мысленно соглашаясь с Полиной. Был у него какой-то опыт в этом деле. Он даже пришел к нему раньше. До мамы. Заболела Кимира. Тяжело болела, вырезали ей грудь. Пришли они с мамой ее проведать уже домой, после больницы. А Кимира в панике. К ней приходила из школы Варвара Петровна из начальных классов. Она была во всем районе учительской обмывальщицей. Ну Кимира как ее увидела, так пришла в ужас.

«Не пускай ее ко мне! – говорила она матери. – Я ее боюсь. Вот так и кажется: засучит она рукава, и конец...»

Мама тогда смеялась, говорила, что бедная Варенька такая душевная женщина и все этим пользуются, но Кимира пусть не волнуется, она теперь их всех переживет.

А потом Илья видел Варвару Петровну в их доме. И действительно с засученными рукавами.

Он смотрел на спрятанных во все черное двух женщин. Они никуда не торопились, они всегда была у цели, они стояли и ждали, когда к ним, величественно и тоже не торопясь, подойдет Мокеевна.

– Лизавета Мокеевна, – скорбным голосом сказала та, что постарше. – Мы к тебе с просьбой по такому случаю... Не дашь ли ты на машину свой большой, три на четыре, ковер... У Павленков нету, и дорожки у них узкие... А Славку, царство ему небесное, надо хорошо отвезти.

– Конечно, она даст, – подхватила та, что помоложе. – Кто ж откажет в таком деле?

– Откажу! – твердо сказала Мокеевна. – Славке эта пышность ни к чему. Не поможет. А ковры сувать чужим – нечего. Ковры у меня трубой свернуты и в нафталине. Тоже мне придумали!

– Да как же, Мокеевна, ты так можешь? – возмутилась та, что была уверена, что старуха не откажет. – Мне это прямо непонятно.

– Не юли, Шурка, не юли. Своего ничего не имела и чужим не распоряжайся. Я деда хоронила на казенном...

– Грех, Лизавета Мокеевна, грех, – сказала первая. – У самой эта дорога не за горами.

– Да ладно тебе, – махнула на нее Мокеевна. – Когда надо будет, тогда и отнесут...

– Не дала, – с удовлетворением сказала Полина. – Слышь, Томка, не дала бабка ковра для Славки.

– Удавится она им! – возмутилась Тамара. И посмотрела на Илью. – Вы только подумайте... – добавила плаксиво, – только подумайте... Тряпку ей жалко...

«Фу, какая все же мерзость!» – подумал Илья. Жадность в их семье занимала в ряду неприемлемых для человека качеств место первое – место худшее. И сейчас он испытывал даже удовлетворение, что на чашу его внутренних весов возложен ковер в нафталине.

«И тут я понял, – скажет он Кимиру, – мне просто здесь нечего делать. Я и раньше был склонен к такой мысли, когда увидел, как она равнодушно встретила смерть Славки, а потом эти слова: я чужих во дворе не люблю, а тут эта история с ковром. Отвратительно!»

Кимира будет дымить, а потом скажет:

«Ты поехал зря. Но теперь, раз уж съездил и все знаешь, как же будешь жить?»

«А как? – ответит Илья. – Нормально. Мы ведь совсем чужие по духу, по жизни, по сути своей, что ли...»

«Брось, – скривится Кимира. – Какая там суть?»

«При чем тут Кимира? – думал Илья. – Она будет счастлива, что все сохранится...»

А Алена? Она не в курсе. А если ей все-таки рассказать?

«Что ты хотел найти? – спросит она. – Объясни – что? Вариант получше? Не возмущайся, не возмущайся. Предположение в порядке бреда. Просто узнать правду? Ну вот! Узнал! Правда оказалась цвета не розового. Твоя мать – старая, жадная кулачка. Впрочем, ее независимость мне нравится... Я даже думаю, что вряд ли ты ее сын. Ты ведь тюха-матюха... А вообще любопытно: дите волчицы воспитывают дельфины. Колоссально! Кто теперь наша дочь?»

Сколь разнообразными ни были бы мысли, реальность оставалась той же. Черные женщины и Мокеевна. Полина со злорадной улыбкой.

Искривленно-брезгливое лицо Тамары. И дед с закрытыми глазами. Дед, которому скучно. И он, пришлый человек Илья. Чужой во дворе. Чужой на этой улице. Чужой, а потому не имеющий права суда. Что он может сказать? И знает ли он, что сказать?

– Идите, идите! – махнула Мокеевна женщинам. – Я свое слово сказала.

Они уходили ровненько-ровненько, а голова повернута в сторону, на Илью, как на генерала на параде, с неистребимым даже в горе любопытством.

– Оно, если разобраться, – сказала Полина, – так, может, она и права. Жалко вещь, разве ж это непонятно? А хлопцу этому несчастному зачем нужно чужое богатство? Тоже мне счастье на ковре на кладбище ехать.

– Я там камень к забору подвинул, – сказал Илья.

Полина непонимающе посмотрела, потом кивнула:

– А! Ладно. В общем, спасибо. У нас все руки не доходили. Мокеевна будет рада.

– Она рада, – с иронией сказал Илья.

– Ну и слава Богу, – ответила Полина.

Мокеевна поставила тятку, опустила занавеску от мух на двери, ничего в ее жизни не произошло, что могло бы нарушить раз навсегда заведенный порядок.

– Мы, дед, – громко сказала Полина, – пойдем к Павленкам. Славку сейчас привезут, помочь надо будет. А вы отдыхайте. – Это Полина сказала Илье и добавила: – Если, конечно, сможете. День такой...

Они с Тамарой совсем было собрались, как зафырчал на улице мотоцикл, а пока прислушивались, кто это так громко, он уже отфыркивался у ворот, а во двор входил начальник милиции.

– Ваня, ты знаешь? – кинулась к нему Полина.

– Знаю, – сказал он. – Сейчас его привезут... Ну как ты тут? – спросил он у Ильи. – Решил заглянуть, обещал ведь...

Они отошли в сторону. Полина и Тамара крутились на веранде – совсем было собрались, да вот еще один гость пожаловал...

С той минуты, как остановился возле дома мотоцикл, Илья понял, что уедет он именно сейчас. Дольше быть – по живому резать, а живое это не он, даже не Мокеевна – это память о маме, это папа. Он так

всегда, всю жизнь будет сравнивать, одно будет перечеркивать другое, и, в общем, никому это не нужно. Пусть себе спокойно, по-заведенному доживает век Мокеевна, ну заедет, может, как-нибудь... Если представится случай... Илья выкристаллизовывал это решение. Теперь, зная, что он уедет, хотелось быть уверенным, что это единственный правильный и праведный выход. Нелепо было приезжать... Существует бесконечное число возможных реальностей. В одной он, может, и жил тут, а в другой он жить здесь не может. А переходы из одной в другую – тема фантастики, а он, увы, в обыкновенной повседневности: кто-то кого-то любит – не любит, кто-то умирает, а кто-то играет на трубе... Возвращайся, Илюша, в свою реальность. Самое правильное дело. Не вноси путаницы в то, что естественно устоялось.

– Я уеду с тобой, – попросил Ивана Илья, – понимаешь, все не то. Это совершенно ясно... Так что нет смысла здесь сидеть...

– Все не то? – удивился Иван. – Жаль. А я уж думал – земляка нашел. Но ты точно узнал? Как?

– Да в общем, узнал... Не то... – И чтоб как-то смягчить неожиданную ложь, добавил: – К сожалению, конечно...

– Что ж тут сожалеть? – сказал Иван. Он так и сказал «сожалеть», но Илье показалось, что он знает, как правильно, а говорит так нарочно, потому что что-то не понял... О чем-то догадался.

– Ты только скажи сам, что меня увозишь. А то знаешь, сколько разговоров...

– Сегодня разговоров не будет. Не до тебя, – сказал Иван. – Не беспокойся.

Илья побежал на веранду, взял чемоданчик. Мокеевна стояла на крыльце и мыла бутылку. «Так вот она и меня не искала, – подумалось вдруг. – А чего я, идиот, лезу?» Полина, увидев его с чемоданом, понимающе кивнула. Дед приподнял сухонькую голову.

– А дело сделал? – спросил он.

– Какое? – удивился Илья.

– Чего-то ж ты приезжал, – ответил он и тут же закрыл глаза, как закрыл дверь.

– Спасибо за гостеприимство, – благодарил Илья, потом подошел к заборчику.

Только что ведь стояла Мокеевна на крыльце, мыла бутылку, а сейчас вошла в дом.

– Неловко так уехать, – сказал Иван, – надо сказать «до свиданья».

– Ладно, езжайте, – успокаивала его Тамара. – Я ей передам.

Но старуха вышла, посмотрела на прильнувшего к штакетнику Илью.

– Я ведь тебе яблок обещала. Иди нарви сам.

Илья подумал, что, может статься, когда-нибудь ему придется объяснять, почему он так быстро бежал. «Кому? – удивился он. – Кому объяснять? Ей?»

– Нарви! Нарви! – приглашала старуха.

Разваливалась на части уверенность, что он обязан уехать. Не надо – надо! Не надо – надо! А тут Иван завел мотоцикл. И вдруг он почувствовал, как поливают прохладной водой ему спину. Ему страшно и весело. И кто-то шлепает его чем-то мокрым: «Вот тебе, вот тебе...» Так ясно это увиделось, что Илья вздрогнул, повернулся: это Полина на него смотрит, ждет, когда же он уедет. Неудобно же самой уходить раньше.

– Спасибо, – сказал Илья Мокеевне. – Не надо яблок.

– Что так быстро? – спросила старуха. – Скучно у нас?

– Да нет, дела, – ответил Илья.

– Ну с Богом! – И она с достоинством кивнула.

Он не успел заметить, как они проехали улицу. Последнее, что он увидел, был торжественный и медленный грузовик.

– Славка! – обернувшись, крикнул Илье Иван.

Смешные эти бабы: дай им ковер – и все. Теперь пошли к Антонине. Ну, с тем же и уйдут, не такая Тоня женщина, чтоб раздаваться. И разве ж в жадности дело? Ерунда! Просто глупая это манера стелить дорогой ковер на машину. Славке это надо? Нет. Это родственники друг перед другом выхваляются. Только что с машины снимут – кого-то из родни оставляют ковер этот проклятый сторожить. Ревут, ревут, а сами все головой крутят: на месте ли он? Кому это надо? А теперь она же, Мокеевна, и жадная. Пусть обижаются. Не ее эти ковры – дочек. А она при них – сторож. И в завещании надо будет написать, чтоб ее хоронили просто. Жаль, теперь подходящих лошадей нет, а то бы на лошадке... Конечно, можно с конным двором

договориться, но у них там или уж совсем кони никудышные, ну те, что бочку возят, или те, что понесут тебя на тот свет рысью. Лошадей ведь тоже надо учить делу.

Мысли Мокеевны бежали неспешно, а руки рылись в стареньком чемоданчике – искали черный гипюровый шарф. Видела, видела старуха, все враз черное нацепили, будто ждали. У нее тоже на свою смерть все приготовлено. А вот на чужую – нет... Куда-то сама от себя этот чертов шарф спрятала. Бросила Мокеевна чемодан, пошла к шифоньеру, открыла дверцу и внутренним зеркалом поймала согнутого Кузьменко, что нес громадный, неловко, спешно свернутый ковер. А сзади радостно – кликуши, смертницы проклятые, нашли время улыбаться! – топали Шурка и Боровчиха. Зыркнули на Мокеевнин двор: видишь, мол, какая ты и каков он? А старухе и так все ясно: сорвал Леонид ковер со стенки, абы как свернул и попер. А Антонина теперь ревет белугой. И Славка тут ни при чем... Его все любили... Не в этом дело...

Шарф был закопан в самом низу. Еле нашла... Лежал вместе с белой капроновой косынкой. Неизвестно, зачем ей Елена ее привезла. Беленькое она любит. Но ситцевое, сатиновое. Оно и стирается хорошо, и не жарко. Раньше еще крепдешин был. Очень хороший материал. А в капроне как неживой – волос не дышит, голове становится душно. Но ничего не скажешь – красиво. Вон Полинин постоялец приехал в капроновой рубашке, такая уж она – белей белого, а потом надел простую, а тело, видать, томилось, пошел ночью купаться. Вообще парень внимательный, но трошки бестолковый. И лицо у него нахальное и виноватое сразу. Она это заметила. Кого-то он ей напоминает, наверное, по телевизору похожего видела. Сейчас много стало таких вот бородатеньких. Мода такая. Видать, тоже осудил ее за ковер. Сердитый стоял... Славка, Славка, горе-то какое! Он и огород ей копал, и утюг налаживал, и кинескоп в телевизоре менял... Она ему, царство небесное, на свадьбу собиралась фотоаппарат подарить. Хороший у нее фотоаппарат. Самый дорогой дед купил перед смертью. Собирался на пенсии снимать. Так он и лежит до сих пор нетронутый... А этот Илья умчался с Иваном. Яблок не взял. Откуда у этих современных понятие, что как они считают, так оно и верно? Вот и Ленка такая – все лучше всех знает. И Верка-баламутка. Хлоп – вышла замуж. Хлоп – разошлась. Хлоп – одного привела. Хлоп

– другого. И этого парня тоже в кино стаскала. Стояли ночью у ее ворот, тискались. А колечико-то его так в карманчике и лежало. А Верке-то что, какая ей разница – холостой, женатый? Замуж она не собирается. «Хватит мне одного мужика. – Это она про сына. – Мне они, хворые и сквалыжные, на работе надоели. Они там все, как есть, в натуре. Ой, какие ж трусливые... К нему со шприцем подходишь, а у него давление повышается, а глютеус – ну задница по-нашему – просто каменный от страху делается».

Поэтому любовь у нее на раз. Но если подумать, то и пусть. Может быть, и ее девки счастливей были бы, если б так умели. Ну, Анна – та, конечно, директор школы. Она себе никогда такого не позволит. А Валюшка стесняется. Ей бы тоже какого-нибудь мужичка с недостатком найти. Но они – хоть и хромые, и косые – все к бабам здоровым притуливаются. Взять хотя бы Полининого деда. Он же смолоду рябой. Сейчас это уже не видно, сморщенный весь, как печеное яблоко. А в молодости за километр видно было, что морда поклевана. Но гулял только с красивыми девками... И этот, что от Томки сбежал... Мало того, что коротконогий, так у него еще и зубы все вставные, он смеется, а у тебя слюна бежит... Убежал... Больно уж вокруг него Полина хороводы водила, он и решил, что не полтинник ему цена, а рубль... А за такого зятя и пятака жалко... Вот этот Илюша – паренек ничего. Ладненький. На кого ж он все-таки похож? Вот видела она его где-то...

Мокеевна стала закрывать шифоньер, но дверца не шла. Это альбом, толстый, со старинными застежками, все, что осталось у нее от дядьки. Теперь таких альбомов нет. Она достала его, тяжелый, массивный, положила на стол. Удивилась, что лежит в закрытом месте, а пыль все равно откуда-то берется. Принесла фланелевую тряпочку, аккуратно обтерла. Неужели и в середину набивается? Расстегнула застежку, раскрыла. Так и есть, полным-полно пыли. Это ж надо! И она хороша тоже: как положила когда-то, так и забыла. А что смотреть? Тут все старые фотографии, девчонки отдельно лежат, а в этом все дядькина родня. Она переворачивала толстые страницы, аккуратно вытирая каждую. Как живые все, а это ж когда делалось! Она аккуратно вытирала фотографию и вдруг почувствовала, как задрожало, заныло сердце. Фланелька аккуратно обтирала мужчину в узких полосатых брюках с мелкими пуговицами внизу. Как будто

вздохнула фотография, освободившись от пыли, – и уже живая смотрела на нее таким нахально-виноватым знакомым взглядом. «Господи Иисусе! – прошептала Мокеевна. – Да как же это так?» Это ж ее папаша. Вот снялись они тогда с мамашей, и помер он вскоре... Да как же это так? Как же? И рука папаша на подлокотнике лежит широкая, белая... Ой, Господи... Да такая же точно рука лестницу вчера держала, а она подумала: белые какие руки, не то что у нее. И борода так же постриженная. Курчавенькая...

– А! – закричала Мокеевна, падая грудью на альбом, как падала когда-то в стерню. – А! – кричала, разламывая криком старое, застывшее горе. И когда полились слезы, поняла Мокеевна, какой всю жизнь носила камень, выходил он слезами, а голос, да не тот, что только что был, а молодой, звонкий, промытый слезой голос причитал: – Ой, Боже ж ты мой, сыночек! Живой! Да как же я тебя, дура, сразу не признала, да ты ж мой красавец, да ты ж мой ненаглядный, яблоки мне рвал, а я, колода слепая, глядела и не видела... Да ты ж меня нашел, да ты ж приехал на мать-дуру посмотреть, да ты ж возле меня как возле солнца крутился, а глаза мои ничего не видели. Ты ж мне наводящие вопросы задавал, а я как оглохла. Да прости ты меня, очумелую. Прости меня, дуру старую.

Поцеловала Мокеевна фотографию, посдергивала с плечиков все свои платья.

– Да какое ж у меня самое красивое? – кричала. – Да чего ж у меня нет золотого парчового?

Одевалась быстро, ловко, все застежки руки вспомнили, а она его, считай, двадцать лет не надевала...

Замки снаружи закрывались плохо. Ладно, как-нибудь! Подперла на всякий случай дверь тяткой. И пошла. Где ж живет этот Ванька-милиционер, будь он неладен, дай Бог ему здоровья! За балкой. Найдет! Да что ж ей теперь для них сделать? Да она теперь перед всеми в долгу, да ей теперь людям добрым кланяться до земли до самой смерти. Ах, сынок, сынок! Ты не гляди, что я старая. Я молодая, я еще тебе пригожусь. Ой пригожусь, милый! Ну, Верка, ну мотовило, сразу увидела, какой красавец приехал... Сынок! Да бегите ж, мои ноженьки, знаете ведь куда...

Черным цветом стекалась улица к Павленчихе. Перекрестилась Мокеевна на печальный двор, пожалела от души Славку, но не зашла.

Так быстро, что сама не заметила, прошла она короткую свою улицу, раз – и уже мелькнула за поворотом белее белого капроновая косынка.